

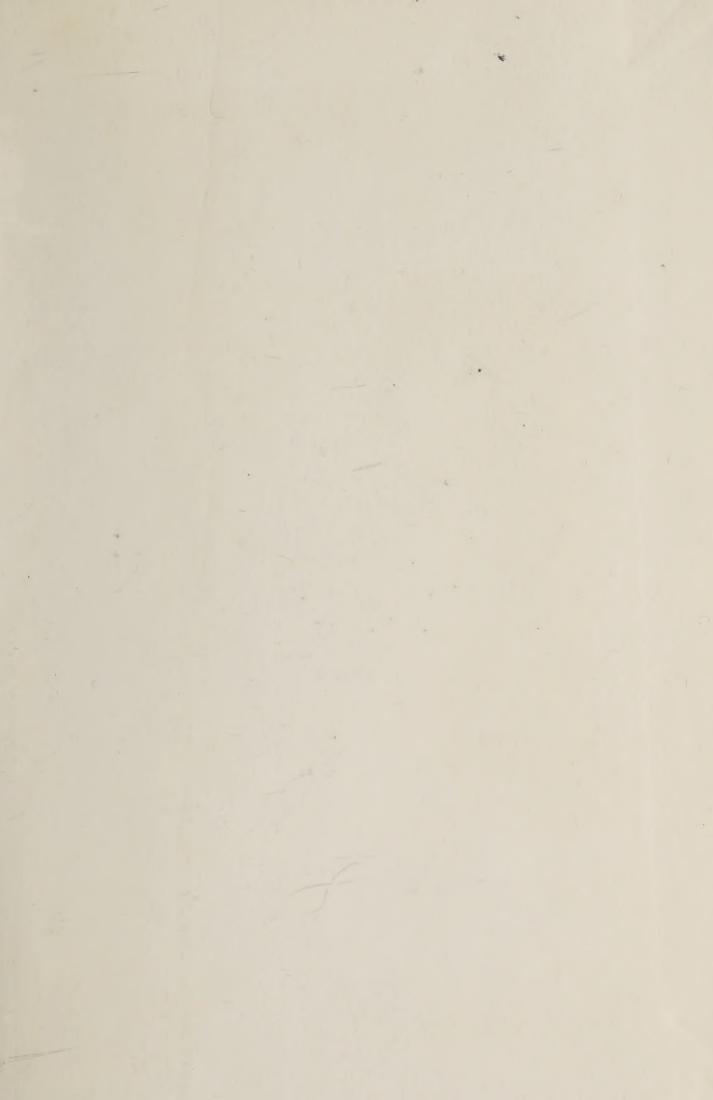


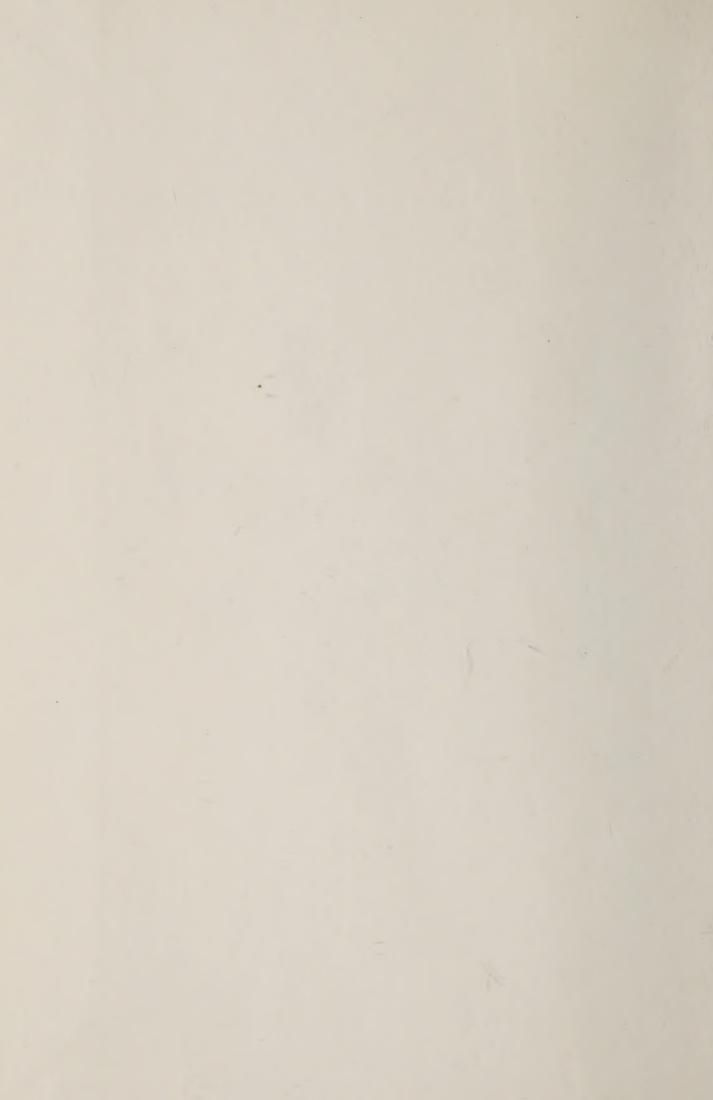
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

WILLIAM H. DONNER COLLECTION

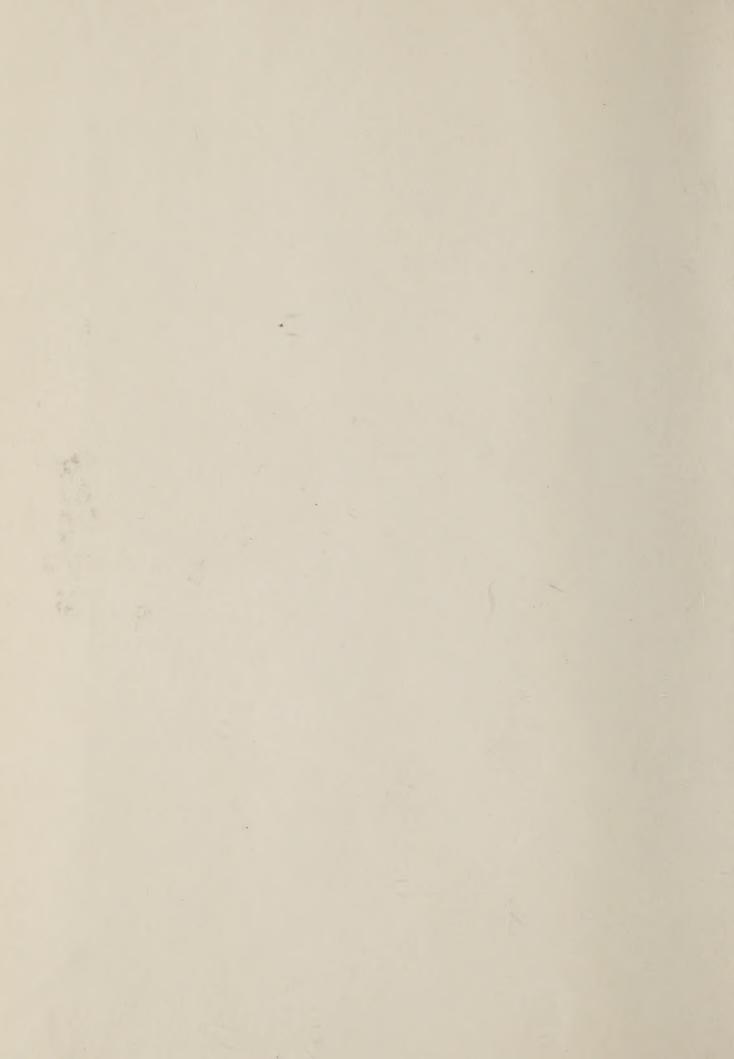
purchased from a gift by

THE DONNER CANADIAN FOUNDATION

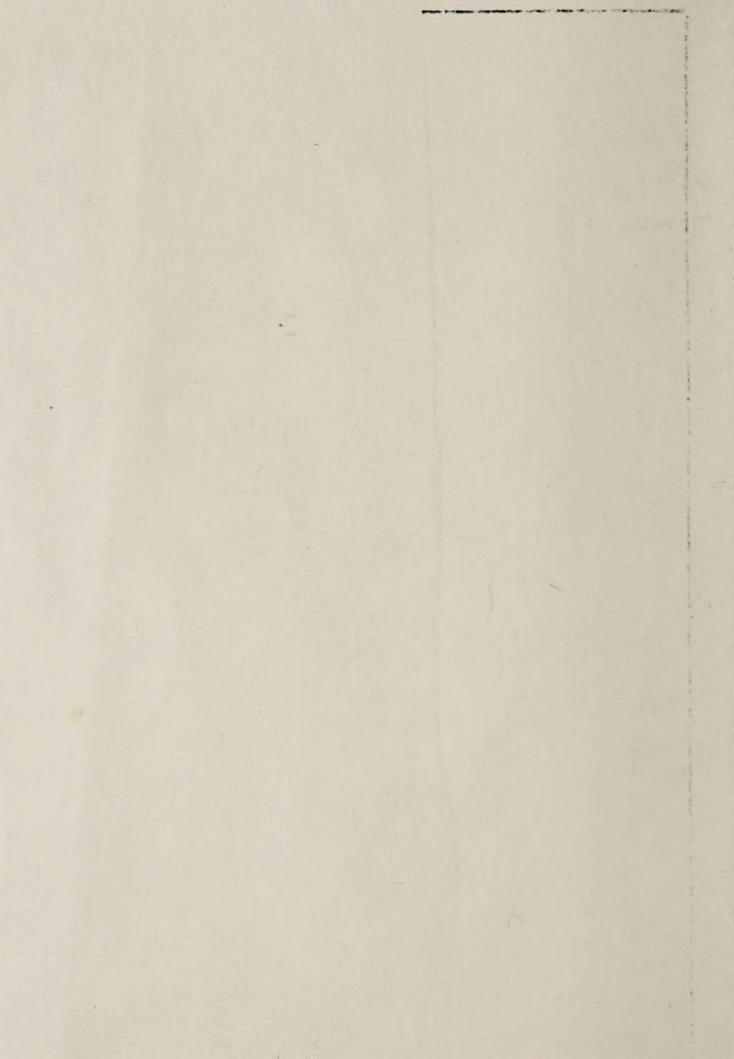


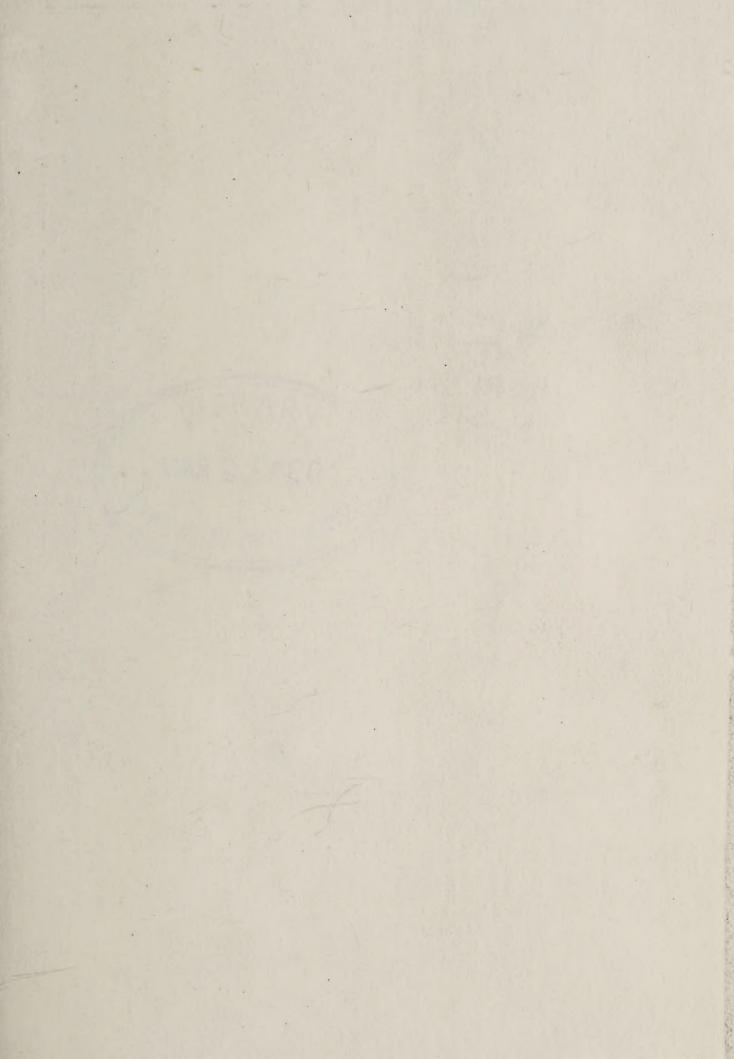


Digitized by the Internet Archive in 2018 with funding from University of Toronto



v.4









PG 3470 T4 1909 t.4 6061001100 600111051032

1.2

COAOPA

J.Wit



изу... шиповникъ G. 06. б.

ӨЕДОРЪ СОЛОГУБЪ

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

томъ четвертый

изд. «Шиповникъ» спб.

өедо ръ сологубъ

РАЗСКАЗЫ

томъ четвертый

изд. «шиповникъ» спб.





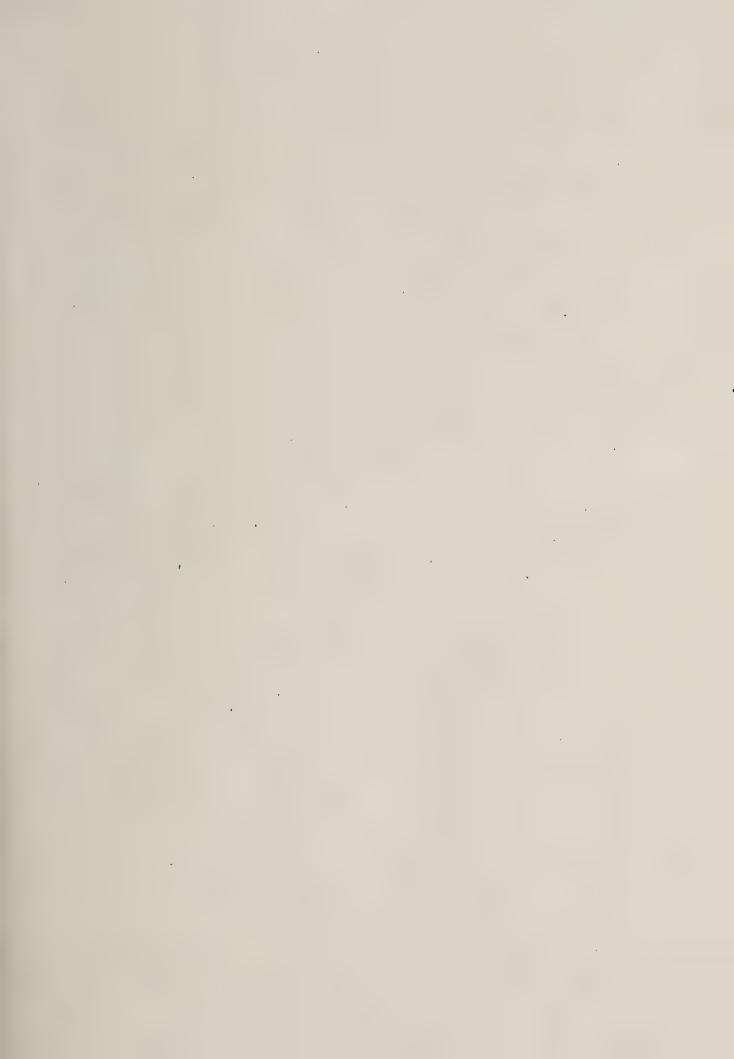
THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
579553

ABFOR, LENGX AND TILBER FOUNDATIONS.

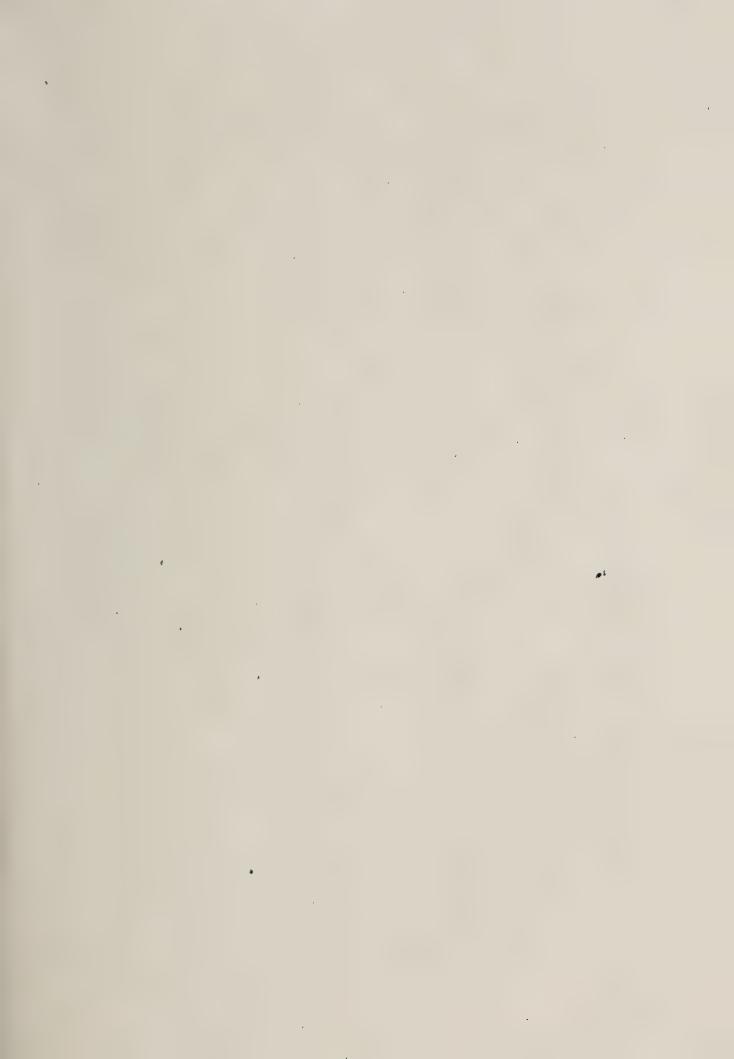
өедоръ сологубъ

Р-АЗСКАЗЫ

ynume man. 13,1917 P. 1.75



K P A C O T A



Въ строгомъ безмолвін вечеръющаго дня Елеча сидъла одна, прямая и неподвижная, положивъ на колфии бълыя, тонкія руки. Не наклоняя головы, она плавала; крупныя, медленныя слезы катились по ся лицу, и темные глаза ся слабо мерцали.

Нажно-любимую мать схоронила она сегодня, и, так, какъ шумнос горе и грубое участіе людское были ей противны, то она на похоронахъ, и раньше, и потомъ, слушая утъщенія, воздерживалась оть плача. Она осталась, наконецъ, одна, въ своемъ бъломъ покоъ, гдъ все дъвственно-чисто и строго,—и печальныя мысли исторгли изъ ея глазъ тихія слезы.

Еленино платье, строгое и черное, лежало на ней печально,—какъ-будто, облекая Елену въ день скорби, не могла равнодушная одежда не отражать ея омраченной души. Елена вспоминала покойную мать,—и знада, что прежняя жизнь, мирная, ясная и строгая, умерда навсегда. Прежде, чъмъ начнется иное, Елена, холодными слезами и неподвижною грустью, поминала прошлое.

Ея мать умерла еще не старая. Она была прекрасна,

какъ богиня древняго міра. Медленны и величавы были вст ея движенія. Ея лицо было какъ-бы обвтяно грустными мечтами о чемъ-то, навтки утраченномъ, или о чемъ-то желанномъ и недостижимомъ. Уже на немъ давно, предвъщательница смерти, ложилась томная блъдность. Казалось, что великая усталость клонила къ успокоенію это прекрасное ттло. Бтлые волосы между черными все замътите становились на ея головъ,—и странно было Елент думать, что ея мать скоро будеть старухою...

Елена встала, подошла къ окну, и медленно отодвинула тяжелый занавъсъ, чтобы разсъять сумерки, которыхъ она не любила. Но и оттуда, извиъ, томилъ ея взоры сърый и тусклый полусвъть, — и Елена опять съла на свое мъсто, и терпъливо ждала черной ночи, и плакала медленными и холодными слезами.

И, наконець, настала ночь, въ комнату принесли огонь, и Елена снова подошла къ окну. Густая темнота окутивала улицу. Бъдные и грубые предметы скучной обычности скрывались въ черномъ покровъ ночи, — и было что-то торжественное въ этой печальной черноть. Противъ окна, у котораго стояла Елена, слабо видиълся, на другой сторонъ улицы, при свътъ ръдкихъ фонарей, маленькій кирпично-красный домъ кузнеца. Фонари стояли далеко оть него, — онъ казался чернымъ.

Вдругь изъ раскрытой кузницы къ воротамъ медленно пронеслась громадная красная искра, и мракъ вокругъ нея словно сгустился, — это кузнецъ пронесъ по улицъ кусокъ раскаленнаго желъза. Внезапная зажглась радость въ Елениной душъ, и заставила Елену тихо засмъяться, — въ просторъ безмольнаго покоя пронесся звонкій и радостный смъхъ.

И когда прошель кузнець, и скрылась красная вы черномь мракт искра,—Елена удивилась своей внезацной радости, и удивилась тому, что она все еще, итжно и трепетно, играеть въ ся душт. Почему возникаеть, откуда приходить эта радость, исторгающая изъ груди смъхъ и зажигающая огни въ глазахъ, которые толькочто илакали? Не красота-ли радуеть и волнуеть? И не всякое ли явлене красоты радостно?

Мгновенная, пронеслась она во мракъ, рожденная оть грубаго вещества, и ногасла, какъ и надлежить являться и проходить красотъ, радуя и не насыщая взоровъ своимъ яркимъ и преходящимъ блескомъ.

Елена вышла въ неосвъщенный залъ, гдъ слабо нахло жасминомъ и ванилью, и открыла рояль; торжественныя и простыя мелодіи полились изъ-подъ ея пальецевъ, и ея руки медленно двигались по бълымъ и чернымъ клавищамъ.

II.

Елена любила быть одна, среди прекрасныхъ вещей въ своихъ комнатахъ, въ убранствъ которыхъ преобладаль бълый цвъть, въ воздухъ носились легкія и слабыя благоуханія, и мечталось о красотъ такъ легко и радостно. Все благоухало здъсь едва различными ароматами: Еленины одежды пахли розами и фіалками, драпировки— бълыми акаціями; цвътущіе гіацинты разливали свои сладкіе и томные запахи. Было много книгь, — Елена читала много, но только избранныя и строгія творенія,

Съ людьми Еленъ было тягостно, — люди говорять неправду, льстять, волнуются, выражають свои чувства преувеличеннымъ и непріятнымъ способомъ. Въ людяхъ

много нельнаго и смынного: они подчиняются модь, употребляють зачымь-то иностранныя слова, имыють суетныя желанія. Елена была сдержанна съ людьми, и не могла полюбить ни одного изъ тыхь, кого встрычала. Одна только была, которая стоила любви, мать,— потому что она была спокойная, прекрасная и правдивая. Елена хотыла-бы, чтобы и всы люди стали когда-нибудь такими-же, чтобы они поняли, что одна есть цыль выжизни,— красота, и устроили себы жизнь достойную и мудрую...

Горъли ламин, — ихъ свъть разливался неподвижноясно и бъло. Пахло розою и миндалемъ. Елена была одна.

Она замкнула на ключъ дверь, зажгла передъ зеркаломъ свъчи, и медленно обнажила свое прекрасное тъло.

Вся бълая и спокойная, стояла она передъ зеркаломъ, и смотръла на свое отраженіе. Отсвъти отъ ламиъ и отъ свъть пробъгали по ся кожъ, и радовали Елену. Пъжная, какъ едва раскрывшаяся лилія съ мягкими, еще примятыми листочками, стояла она, и безгръщная алость разливалась по ся дъвственному тълу. Казалось, что сладкій и горькій миндальний запахъ, въющій въ воздухъ, исходить отъ ся нагого тъла. Сладостное волненіе томило се, и ни одна нечистая мисль не возмущала ся дъвственнаго воображенія. И нъжные грезились ей, и безгръшные поцълуи, тихіе, какъ прикосновенія полуденнаго вътра, и радостные, какъ мечты о блаженствъ.

Радостна была для Елены обнаженная красота ся нъжнаго тъла,—Елена смъялась, и тихій смъхъ ся звучаль въ торжественной тишинъ ся новозмутимаго покоя

Елена легла грудью на коверъ, и вдыхала слабый за-

пахъ резеды. Здѣсь, внизу, откуда странно было смотрѣть на нижнія части предметовъ, ей стало еще веселѣе и радостнѣе. Какъ маленькая дѣвочка, смѣялась она, перекатываясь по мягкому ковру.

III.

Много дней подъ-рядъ, каждый вечеръ, любовалась Елена передъ зеркаломъ своею красотою,—и это не утомляло ея. Все было бъло въ ся горницъ,—и среди этой бълизны мерцали алые и желтые тоны ся тъла, напоминая иъжиъйшіе оттънки перламутра и жемчуга.

Елена поднимала руки надъ головою и, приподнимаясь, вытягивалась, изгибалась и колебалась на напряженныхъ ногахъ. Нъжная гибкость ся тъла веседила св. Ей радостно было смотръть, какъ упруго напрягались подъ иъжною кожею сильные мускулы прекрасныхъ поръ.

Она двигалась по комнать, нагая, и стояла, и лежала, и всв ся положенія, и всв медленныя движенія од были прекрасны. И она радовалась своей красоть, и проводила, обнаженная, долгіе часы,—то мечтая и любуясь собою, то прочитывая страницы прекрасныхъ и строгихъ поэтовъ...

Въ чеканной серебряной амфорф бълъла благоуханная жидкость: Елена соединила въ амфорф ароматы и молоко. Елена медленно подняла чащу и наклонила ес надъ своею высокою грудью. Бълыя, пахучія капли тихо падали на алую, въдрагивающую отъ ихъ прикосновенія, кожу. Запахло сладостно ландышами и яблоками. Благоуханія обняли Елену легкимъ и нъжнымъ облакомь...

Елена распустила длинные, червые воолсы, и осы-

пала ихъ красными маками. Потомъ бѣлая вязь цвѣтовъ поясомъ охнатила ея гибкій станъ и ласкала ея кожу. И прекрасны были благоуханные эти цвѣты на об. наженной красотъ ея благоуханнаго тѣла.

Потомъ она сняла съ себя цвѣты, и опять собрала волосы высокимъ узломъ, облекла свое тѣло тонкою одеждою, и застегнула ее на лѣвомъ плечѣ золотою пряжкою.

Сама она сдълала для себя эту одежду изъ тонкаго полотна, такъ что никто еще не видълъ ея.

Елена легла на низкое ложе, и сладостныя мечтанія проносились въ ся головѣ,—мечтанія о безгрѣшныхъ ласкахъ, о невинныхъ поцѣлуяхъ, о нестыдливыхъ хороводахъ на орошенныхъ сладостною росою лугахъ, подъ ясными небесами, гдѣ сіяетъ кроткое и благостное свътило.

Она глядъла на свои обнаженныя ноги, —волнистыя ливіи голеней и бедеръ мягко выбъгали изъ-подъ складокъ короткаго платья. Желтоватые и алые нъжные тоны на кожъ рядомъ съ однообразною желтоватою бълизною полотна радовали ся взоры. Выдающіеся края косточекъ на кольняхъ и стопахъ, и ямочки рядомъ съ ними, —все осматривала Елена любовно и радостно, и осязала руками, —и это доставляло ей новое наслажденіе.

IV.

Однажды вечеромъ Елена забыла запереть дверь передъ тъмъ, какъ раздъться. Обнаженная, стояла она передъ зеркаломъ, поднявъ руки надъ головою.

Вдругь пріотворилась дверь. Въ узкомъ отверстін показалась голова, — это заглянула горинчная Макрина, смазливая дъвица съ услужливо-лукавимъ вираженіемъ на румяномъ лицъ. Елена увидъла ее въ зеркалъ. Это было такъ неожиданно, — Елена не сообразила, что ей сдълать или сказать, и стояла неподвижно. Макрина скрылась сейчасъ-же, такъ-же безшумно, какъ и появилась. Можно было подумать, что она и не подходила къ двери, что это только такъ привидълось.

Еленъ стало досадно и стыдно. Хотя она едва только успъла бросить взглядъ на Макрину, но уже ей казалось, что она видъла промелькнувшую на Макрининомълицъ нечистую улыбку. Елена посиъшно подошла къдвери, и заперла ее на ключъ. Потомъ она легла на низкомъ и мягкомъ ложъ, и думала печально и смутно...

Досадныя подозрънія раскрывались въ ней...

Что скажеть о ней Макрина? Теперь она, конечно, пошла въ людскую, и тамъ разсказываеть кухаркъ, що-потомъ, съ гадкимъ смъхомъ. Волна стыдливаго ужаса пробъжала по Еленъ. Ей вспомиилась кухарка Маланья, румяная, молодая бабенка, веселая, съ лукавымъ смъшкомъ...

Что-же теперь говорить Макрина? Еленъ казалось, что кто-то шепчеть ей въ уши Макринины слова:

- И вижу это я скрозь щелку,—стоить барышия передъ зеркаломъ въ чемъ мать родила,—вся какъ есть совсъмъ выпялимнись.
 - Да что ты!-восклицаеть Маланья.
- Воть еп-Богу!—говорить Макрина,—вся годая, и фигуряеть, и фигуряеть, и этагъ-то повернется, и такъ-то...

Макрина топчется на мъсть, представляя барышню, и объ хохочуть. Циничныя, грубыя слова звучали сь безпощадно-гнусною ясностью; оть этихъ словъ и отъ

грубаго смъха горинчной и кухарки Еленино лицо покрылось жгучимъ румянцемъ стыда и обиды.

Она чувствовала стыдъ во всемъ тѣлъ, — онъ разливался пламенемъ, какъ снѣдающая тѣло болѣзнь. Долго Елена лежала неподвижная, въ какомъ-то странномъ и тупомъ недоумѣніи,—потомъ стала медленно одѣваться, хмуря брови, какъ-бы стараясь рѣшить какой-то трудный вопросъ, и внимательно разсматривая себя въ зеркалѣ.

V.

Въ слъдующе за тъмъ дии Макрина держала себя такъ, какъ будто она тогда и не видъла ничего, и даже не проходила,—и это ея притворство раздражало Елену. И потому уже все въ Макринъ, что было и раньше, но чего Елена не замъчала, теперь стало ей противно. Непріятно было одъваться и раздъваться при Макринъ, принимать ея услуги, слушать ея льстивыя слова, которыя прежде терялись въ ленечущихъ звукахъ водянихъ струекъ, илещущихъ объ Еленино тъло, а теперь поражали слухъ.

И въ первый-же разъ, когда Макрина заговорила попрежнему, Елена вслушалась въ ея слова, и дала волю своему раздраженю.

Утромъ, когда Елена входила въ ванну, Макрина, поддерживая ее подъ локоть, сказала со льстивою улыбкою:

— Въ такую милочку, какъ вы, кто не влюбится! Развъ у кого глазъ нътъ, тотъ только не замътить. Что за ручки, что за ножки!

Елена покраснъла.

— Пожалуйста, перестаньте, - ръзко сказала она.

Макрина взглянула на нее съ удивленіемъ, опустила глаза, и потомъ,—или это только показалось Елень?— легонько усмъхнулась. И эта усмъшка еще болъе раздражила Елену,—но уже она овладъла собою, и промолчала...

Упрямо, безъ прежняго радованія, съ какими-то злыми думами и опасеніями, Елена продолжала каждый день обнажать свое прекрасное тёло и смотръть на себя въ зеркало. Она дълала это даже чаще, чъмъ прежде, не только вечеромъ, при свътъ лампъ, но и днемъ, опустивъ занавъсы. Теперь она уже не забывала опускать портьеры, чтобы не подсматривали и не подслушивали ее снаружи, и при этомъ стыдъ дълалъ всъ ея движенія неловкими.

Уже и не такимъ, какъ прежде, прекраснимъ казалось теперь Еленъ ея тъло. Она въ этомъ тълъ находила недостатки,—старательно отыскивала ихъ. Чудилось въ немъ нъчто отвратительное,—зло, разъъдающее и позорящее красоту, какъ-бы налетъ какой-то, паутина или слизъ, которая противна, и которую никакъ не стряхнутъ.

Еленъ часто казалось, что на ея обнаженномъ тълъ тяжко лежать чын-то чужіе и страшные взоры. Хотя никто не смотрълъ на нее, но ей казалось, что вся комната на нее смотрить, и оть этого дълалось стидно и жутко.

Было-ли это днемъ,—Еленъ казалось, что свъть безстыденъ, и заглядываеть въ щели изъ-за занавъса острыми лучами, и смъется. Вечеромъ — безокія тъни изъ угловъ смотръли на нее, и зыбко двигались, и эти ихъ движенія, которыя производились трепетавшимъ свътомъ свъчь, казались Еленъ беззвучнымъ смъхомъ надъ нею. Страшно было думать объ этомъ беззвучномъ смъхъ, и напрасно убъждала себя Елена, что это обыкновенныя, неживыя и незначительныя тъпи, — ихъ вздрагиванье намекало на чуждую, недолжную, издъвающуюся жизнь.

.

Иногда внезапно возникало въ воображении чье-то лицо, обрюзглое, жирное, съ гнилыми зубами, — и это лицо похотливо смотръло на нее маленькими, отвратительными глазами.

И на своемъ лицъ Елена порою видъла въ зеркалъ что-то нечистое и противное, и не могла понять, что это.

Долго думала она объ этомъ и чувствовала, что это не показалось ей, что это въ ней родилось что-то скверное, въ тайникахъ ся опечаленной души, межъ тъмъ какъ въ тълъ ея, обнаженномъ и бъломъ, подымалась все выше горячая волна трепетныхъ и страстныхъ волненій.

Ужасъ и отвращение томили ее.

И поняла Елена, что невозможно ей жить со встмъ этимъ темнымъ на душъ. Она думала:

"Можно-ли жить, когда есть грубыя и грязныя мысли? Пусть онв и не мои, не во мив зародились,— но развв не моими стали эти мысли, какъ только я узнала ихъ? И не все-ли на сввтв мое, и не все-ли связано неразрывными связями?"

VI.

Въ гостиной у Елены сидъль Респицынь, молодой еловъкь, по-модному одътый, иъсколько вялый, но совершенно влюбленный въ себя и увъренный въ своихъ достоинствахъ. Его любезности сегодия не имъли никакого успъха у Елены, какъ и раньше, впрочемь. Но прежде она выслушивала его съ тою общею и безлич-

ною благосклонностью, которая привычна для людей такъ называемаго "хорошаго общества". Теперь-же она была холодна и молчалива.

Ресницынь чувствоваль себя выбитымь изъ колен, а потому сердился и нервно играль моноклемь. Онъ не прочь быль бы назвать Елену невъстою, и ея холодность казалась ему грубостью. А Елену болье, чъмь когдалибо прежде, утомляло въ его разговоръ легкомысленное порханіе съ предмета на предметь. Она сама говорила всегда сжато и точно, и всякое многорьчіе людское было ей тягостно. Но люди почти всь таковы, — распущениме, безпорядочные.

Елена спокойно и внимательно смотръла на Ресницина, какъ бы находя въ немъ какое-то печальное соотвътствіе своимъ горькимъ мыслямъ. Неожиданно для него она спросила:

— Вы любите людей?

Респицынъ усмъхнулся небрежно, съ видомъ умственнаго превосходства, и сказалъ:

- Я самъ-человъкъ.
- Да себя-то вы любите?—опять спросила Елена.

Онъ пожалъ своими узенькими плечами, саркастически усмъхнулся, и сказалъ притворно-въжливимътономъ:

- Люди вамъ не угодили? Чъмъ, позвольте спросить? Видно было, что онъ чувствуеть себя оскорбленнымъ за людей тъмъ, что Елена допускаеть возможность и не любить ихъ.
 - Развъ можно любить людей? спросила Елена.
 - Почему-же нельзя?—наумленно переспросиль онт..
- Они сами себя не любять, холодно говорила Елена, — да и не за что. Они не понимають того, что

одно достойно любви,—не понимають красоты. О красоть у нихъ пошлыя мысли, такія пошлыя, что становится стыдно, что родилась на этой землів. Не хочется жить здібсь.

- Однако-же вы живете здёсь!—сказалъ Ресницынъ.
- Гдъ-же миъ жить!-холодно промолвила Елена.
- Гдв-же люди лучше? спросиль Ресницынь.
- Да они вездъ одинаковы, отвътила Елена, и легкал презрительная усмъшка мелькнула на ея губахъ.

Респицынь не понималь. Разговорь этоть ственяль его, казался ему неприличнымь и страннымь. Онь поспышиль распрощаться и упти.

VII.

Вечерѣло. Елена была одна.

Въ тихомъ воздухѣ ся покоя ванильный запахъ гелютрона не смѣнивался съ медовымъ ароматомъ черемухи и со сладкими благоуханіями розъ, и побъждалъ ихъ.

"Построить жизнь по идеаламъ добра и красоты! Съ этими людьми и съ этимъ тъломъ!—горько думала Елена. — Невозможно! Какъ замкиуться отъ людской поилости, какъ уберечься отъ людей! Мы всѣ вмъстъ живемъ, и какъ-бы одна душа томится во всемъ многоликомъ человъчествъ. Міръ весь во мнѣ. Но страшно, что онъ таковъ, каковъ онъ есть, — и какъ только его ноймень, такъ и увидишь, что онъ не долженъ быть, потому-что онъ лежить въ норокъ и во злѣ. Надо обречь его на казнь, — и себя съ нимъ".

Тоскующіе Еленины глаза остановились на блестящемь предметь, красивой прушкь, брошенной на столь.

"Какъ это просто! — подумала она. — Воть, довольно хоть-бы этого ножа".

Тонкій позолоченный кинжаль, изь тіхь, которые иногда употребляются для разрізыванія книгь, съ украшенною искусною різьбою рукоятью и съ обоюдоострымь лезвеемь, лежаль на ея письменномь столів. Елена взяла его въ руки и долго любовалась имь. Она кушла его недавно, не потому, что онь быль ей нужень, — ніть, ея взоры привлекъ странный, запутанный узоръ різьбы на рукояти.

"Прекрасное орудіе смерти",—подумала она, и улыбнулась. Улыбка ея была спокойная и радостная, и мысли въ головъ у ней проходили ясныя и холодиня.

Она встала,—и кинжаль блестьль въ ея опущенной обнаженной рукъ, на складкахъ ея зеленовато-желтаго платья. Она ушла въ свою опочивальню, и на подушкахъ, лезвеемъ къ изголовью, положила кинжалъ. Потомъ надъла она бълое платье, отъ котораго томно и сладостно нахло розами, опять взяла кинжалъ, и легла съ нимъ на постель, поверхъ бълаго одъяла. Ея бълые башмаки упирались въ подножіе кровати. Она полежала нѣсколько минуть неподвижно, съ закрытыми глазами, прислушиваясь къ тихому голосу своихъ мыслей. Все въ ней было ясно и спокойно, и только темное томило ее презръніе къ міру и къ здъщней жизни.

И воть, —какъ-будто кто-то повелительно сказалъ ей, что насталь ея часъ. Медленно и сильно вонзила она въ грудь, прямо противъ ровно бившагося сердца, кинжалъ до самой рукояти, —и тихо умерла. Блъдная рука разжалась и упала на грудь, рядомъ съ рукоятью кинжала.



утъшеніе



Въ ясный осенній день по шумной и людной улицъ возвращались домой два школьника. Одинъ, Дмитрій Дармостукъ, быль удрученъ тьмъ, что въ его дневникъ единица. Тоска и страхъ ясно отражались на его худощавомъ лицъ съ большимъ носомъ и тонкими, по привычкъ улыбающимися, губами.

Дармостукъ-кухаркинъ сынъ, но одъть чистенько, и самъ чистый да бълый. Онъ довольно высокъ для своихъ тринадцати лътъ.

Другой, Назаровъ, видно, сорви-голова, —растрепанний, оборванный, въ стоитаныхъ и нечищеныхъ сапотахъ, въ выгорѣвшей на солнцѣ фуражкѣ; весь онъ нескладный, —длинный, тощій, испитой. Его блѣдное и сухое лицо часто подергивается судорожными гримасами, а въ минуту возбужденія онъ весь сотрясается, моргаеть и заикается.

- Недаромъ у меня утромъ правый глазъ чесался, эказалъ Дармостукъ, пожимаясь тонкими илечами, словно отъ холода, такъ я и зналъ, что что-нибудь выйдетъ...
 - Дуракъ, примътамъ въришь, отвътилъ Назаровъ,

занкаясь на звукъ "р."—Ты знасшь что, ты дневникъ расшей.

- Ну, и что-же?—съ робкимъ любопытствомъ спросилъ Дармостукъ.
- Ну воть, оживленно говориль Назаровь, начиная усиленно гримасничать и безтолково разводя руками, вынешь листь съ единицей, ну и вставишь чистый, понимаешь, изъ другого дневника, дома покажешь, а потомъ опять расшей, старый вставь.

Назаровъ засмъялся, поднять кольно, и хлопнуть по нему ладонью.

- А чистый-то листь откуда мив взять? первинтельно спросиль Митя.
- Я тебъ продамъ изъ своего дневника, зашенталъ Назаровъ, оглядываясь по сторонамъ, а самъ скажу, что потерялъ, понимаешь? и куплю другой дневникъ.
- Да въдь будеть видио, если расшить, —возражалъ
 Митя.
- Можно и не расшивавши вынуть, сказаль Назаровь съ увърениой усмъшкою знающаго человъка.
 - Ну?-недовърчиво спросилъ Митя.

Улыбка отдаленной надежды мелькнула на его блъдныхъ губахъ.

- Воть eft-Богу, —убъдительно говориль Назаровъ, только надорвать вверху и внизу, —да воть я тебъ по-кажу, —давай, —воть только войдемъ подъ ворота.
- Боюсь, нервшительно сказаль Митя, щурясь оть набытавшаго вытра, который поднималь съ мостовой столбы сора и ныли.

А Назаровъ уже вытащиль изъ сумки диевникъ, тетрадочку, разграфленную на весь годъ для записи уроковъ, отмътокъ и замъчаній. Товарищи вошли въ ворота большого проходного дома, и тамъ остановились: Дармостуку надо было итти черезъ этотъ дворъ, а Назаровъ не отставалъ, и убъждалъ Митю купить листъ изъ дневника. Голоса ихъ гулко раздавались подъ кирпичными сводами, и это пугало Митю.

- Ну, давай иятиалтынний,—говориль Назаровъ.— Въдь дневникъ двадцать копъекъ стоить, а куда онъ порченый? Для того только уступаю, что можеть потомъ и мит пригодится, на всякій случай,—понимаешь?
- Дорого,—сказалъ Дармостукъ, завистливо поглядывая на дневникъ.
- Дорого? Дуракъ! Напди дешевле, съ досадою крикнулъ Назаровъ, и показалъ Митъ языкъ, длинный и тонкій.
 - Да мив и не надо.

Митя отвернулся, стараясь подавить незаконное желаніе.

— Ну, давай тривенникъ, —быстро заговориль Назаровъ, становясь онять ласковымъ. —Ну, иятачокъ? Соглашайся скоръе, завтра двугривенный заломлю.

Назаровъ хваталъ Дармостука за руки хододными и цъпкими пальцами, и отчаянно гримасничалъ.

- Грешно, пробормоталь Митя, и покрасивлъ.
- Ничего не гръшно, —запальчиво возразилъ Назаровъ, —а имь не гръшно колы лъпить ни за что, ни про что?

По Митину лицу было видно, что онъ недолго устоить противъ искушенія. Но уже Назаровъ разсердился, и сділаль гримасу, выражавшую горчаншее презрівніе.

— Чорть съ тобой!—выкрикнуль онъ, трепеща оть досады, передернулся, какъ картонный паяцъ на ни-

точкъ, быстро всунулъ дневникъ въ сумку, и побъжалъ прочь.

Митя вошель во дворь, и въ раздумы тихо подвигался впередь. Дворь тянулся длинный, пеширокій, мощеный неровнымь булыжникомь. Посреди задняго флигеля мрачно зіяли ворота на другую улицу. Вдоль двора лежаль узенькій, вь одну илиту, перовный тротуарь. По сторонамь подымались четырехъэтажные флигели, съ грязно-желтими стѣнами, съ бурыми деревянными, крупно-продыравленными для воздуха, ящиками въ кухонныхъ окнахъ. Проходили женщины въ платкахъ, мастеровые. Мусоръ валялся неприбранный. Стояла поломанная бочка. Грязныя дѣти играли возлѣ нея, и весело и звонко кричали. Нахдо непріятно и грубо.

Хорошо бы, если бы дневникъ показывать только матери! Но его надо показать еще и барынъ... Барыня вспоминалась надобдливая, говорливая, важная, шумящая шелковымъ платьемъ и сильно пахнущая духами, — и всъмъ этимъ наводила на Митю оторопь и страхъ.

И мать вспоминалась. Митя зналь, что она будеть бранить его и плакать. Она—угрюмая и бъдная. Она работаеть,—и Митя понималь, что должень выучиться чему-нибудь, чтобъ ей подъ старость быль пріють.

Съ улицы доносились грохочущіе звуки,—пробажали экипажи, далеко сотрясая мостовую. Митя чувствоваль, какъ-бы въ самыхъ своихъ костяхъ, какъ легонько вадрагивали камни,—и это дрожаніе страшило его, какъ и отзвуки отъ уличныхъ гуловъ.

Вдругь, гдв-то высоко, услышаль Митя тонкій смѣхъ и звонко-лепечущій голось. Митя подняль глаза. Въ окнѣ задняго флигеля, въ четвертомъ этажѣ, увидѣлъ

онъ дѣвочку, лѣтъ четырехъ,—и дѣвочка понравилась ему. Освѣщенная солнцемъ, она лежала на подоконникѣ, ухватившись пухлыми ручонками за желѣзный красный листъ подъ окномъ, и смотрѣла ясными глазами внизъ, на играющихъ маленькихъ дѣвочекъ, которыя бѣгали и визгливо хохотали. Дѣвочку наверху радовало ихъ веселье. Она нагибалась къ нимъ, смѣялась и кричала что-то, чего не слущали онѣ.

Митино сердце тоскливо замерло. Въ первую минуту онъ не зналъ, что его страшить. Потомъ онъ подумаль, что дъвочка можеть упасть, что она упадеть, воть-воть сейчасъ. Митя поблъднълъ и замеръ на мъстъ. Привычная головная боль схватила его за виски.

Такъ высоко,—а дъвочка наклоняется, кричить и смъется. Такъ высоко,—и только узкая желъзная полоска, покатая внизъ, отдъляеть дъвочку отъ страшной пропасти. Голова у дъвочки,—думалъ Митя,—должна вакружиться. Ей не удержаться,—думалъ онъ съ отчаниемъ и страхомъ, и ему показалось, что она уже не смъется, что она тоже испугалась.

Злая мысль на мгновеніе овладіла Митею, и заставила его задрожать: онь почувствоваль нетерпіливое желаніе, чтобы дівочка упала поскорфе, лишь-бы не томиться ему здітсь этимь страхомь. Но едва только онь поняль въ себі это желаніе, онь спохватился и,—словно чувствуя, какь она колеблется и скользить на узкомь желізі, теряя равновіте и ціпляясь задрожавшими ручонками,—побіжаль къ дівочкі, протягивая руки. Но въ эту самую минуту дівочка взвизгнула, перевернулась въ воздухі, и упала, мелькнувши передъ окнами, какъ сброшенный съ чердака узель съ більемъ.

Митя не добъжаль. Онъ остановился, и руки его

безсильно повисли. Дѣвочка ударилась о камни затылкомъ. Митя ясно услышаль легкій трескъ ея черепа, похожій на звукъ оть разбиваемой янчной скорлупы. Потомъ, съ мягкимъ стукомъ, она опрокинулась на спину и, какъ-то неловко изэгнувшись и раскинувъ руки, легла ногами къ Митѣ; глаза ея были полузакрыты, и тубы жалобно искривились.

Два мальчика, не видъвшіе паденія, все еще бъгали и смъялись,—и голоса ихъ звучали странно и неумъстно. Дъвочки, перепутанныя, стояли молча, дрожали и таращили глаза на ребенка, который неожиданно свалился къ ихъ ногамъ. Было такъ свътло, на всемъ дворъ лежали ясные и блъдные отблески солнечныхъ дучей отъ верхнихъ оконъ,— кровь текла медленно изъ подъ волотистыхъ дъвочкиныхъ волосъ, яркою струйкою, и смъщналась съ пылью и соромъ.

Вдругъ одна изъ дѣвочекъ, слабенькая и хрупкая на взглядъ, высоко вскинула руки, всплеснула маленькими ладошками, и произительно закричала, безъ словъ. Ея лицо покрасиъло и перекосилось, изъ прищурившихся глазъ брызнули мелкія и частыя слезинки,—и разлились по всему крошечному лицу. Не переводя голоса, протягивая руки и шатаясь, она метнулась въ сторону, гонимая ужасомъ, наткнулась на Митю руками, отскочила и побѣжала дальше, крича и плача.

Занищаль кто-то, робко и плаксиво. Мальчики, только-что игравше, стали рядемь съ Митею, и смотрели на упавшую девочку съ тупымъ и безсмысленнымъ любопытствомъ. Въ одномъ изъ оконъ показалась толстая женщина въ беломъ переднике, и заговорила что-то, взволнованно и быстро. И изъ другихъ оконъ стали выглядывать на дворъ. Неспешно и равнодушно приблизился дворникъ, бълолицый нарень въ красной вязаной курткъ, посмотръть на дъвочку крупными и пустыми глазами и, опершись о метлу руками, сталъ глазъть по окнамъ. Когда онъ, постепенно подымая голову, дошель до верхнихъ оконъ, какія-то неясныя чувства тускло отразились на его пухломъ лицъ.

Вокругъ дъвочки собирались, зашумъли. Мастеровой въ опорнахъ, съ ремешкомъ на лбу, замахалъ руками и крикнулъ:

— Городового!

- Ахъ, грѣхъ какой!—заахала маленькая старушонка, выглядывая изъ-за его плеча.
- Мать не досмотръла, сказала сердитая баба въ съромъ илаткъ.

Подошель старшій дворникь, въ черномь пиджакъ, чернобородый, съ поблъднъвшимь оть неожиданности лицомъ.

— Бъги, бъги, товориль онъ подручному.

Бълолицый нарень медленно ношелъ къ воротамъ.

- Въ участокъ поики! зашенталь кто-то свади Мити.
- Чего ужь, окапутилась! отвътиль положительный мужской голосъ.

Митя удивился, какъ чему-то невозможному, что дъвочка лежитъ уже мертвая.

Вдругь откуда-то сверху донесся вой, растущій и приближающійся. Съ угловой лѣстницы, дико воня, вынеслась, неистовымь порывомъ, растренанная и поблѣднѣвшая женщина; она протягивала дрожащія руки, и стремительно упала на дѣвочку.

— Расчка, Расчка!—закричала она, и трясущимися губами принялась дуть на дёвочкины ручонки. Потомъ,

вздрогнувъ отъ ихъ холода, она схватила Расчку за илечики, и приподняла се. Расчкина голова запрокинулась назадъ. Мать отчаянно взвыла и покрасиъла, какъ
та маленькая дъвочка, и такъ же облилась слезами.

— Мать-то—окарачь!—послышался за Митею сокрушенный старушечій шопоть.

Мостовая задрожала, — съ улицы донесся грохоть и заять оть желъза. Мить стало страшно. Онъ бросился бъжать.

II.

Тяжело дыша оть долгаго бъга, Митя пріостановился на илощадкъ, на узкой и грязной лъстницъ, въ третьемъ этажъ. Изъ отворенной двери кухониий чадъ обдаль его. Онъ слышалъ сердитий материнт голосъ. Робко вошелъ Митя въ кухню, гдъ нахло масломъ, лукомъ, дымомъ,—и остановился у дверей, охваченный привычными ощущеніями, — неловкостью и безпріютностью въ этой квартиръ, которая и чужая ему, и все-же служить его домомъ.

Его мать, кухарка Аксинья, растрепанная, жаркая, съ засученными рукавами на толстыхъ красныхъ рукахъ, въ затасканномъ и прожженномъ передникъ, суетилась у плиты, поджаривая что-то, шипъвшее и брызгавшее масломъ на сковородъ. Пламенные язычка, красные, какъ струйки Раечкиной крови, мелькали за неплотно-затворенною печною дверцею. Сквозило,—дверь и окно стояли настежь. Аксинья бранила барыню, и свою жизнь, и жаркое, и дрова.

Митя чуествоваль въ себъ какое-то неясное, отвътное раздражение: онъ зналъ, что свою досаду мать со-

рветь на немь.

— Ну, чего торчишь на порогь!—закричала Аксинья, повертывая къ Митъ красное озлобленное лицо со слезящимися глазами, надъ которыми метались ръденькими космами съдъюще волосы. — Принесла нелегкая, безътебя тоино!

Митя прошедъ за перегородку, въ каморку при кухић, гдѣ они съ матерью жили. Изъ кухни, сквозь пипящіе звуки на сковородѣ и въ печкѣ, слышалось сердитое Аксиньино ворчанье.

— Жаришься весь въкъ свой у печки, какъ окаянная,—прости, Господи, мое великое согрѣшеніе!—а сынъ вырастеть, о матери и не подумаеть. Сыновнимъ-то хлъбомъ не разъъшься. Пока мать понтъ-кормить, пота мать и нужна!

Митя сердито нахмурился, усълся въ углу на зеленый сундучокъ, пригорюнился, и погрузился въ печальныя мысли и воспоминанія. Расчка вспоминалась емуна камияхъ съ разбитою головою...

Прошло нъсколько минуть. Аксинья заглянула въ каморку, пріоткрывъ дверь.

— Митя, поди-ка сюда!—съ неловкостью въ голосъ, полушопотомъ, позвала она.

Уже она смотръла на сына ласково, и это не шло къ ся грубому, некрасивому лицу. Митя подошелъ.

— На, събињ пока! — сказала Аксињя, сунула ему сладкій блинъ, только-что испеченный и еще горячій, и опять скрылась въ кухню.

Внезанное сердечное размятченіе вызвало на Митины глаза легкія слезинки. Когда онъ ѣлъ блинъ, скулы его двигались неловко, съ какою-то особою болью отъ подступающаго къ горлу плача. Острая жалость къ матери,

вызванная жалобами ея, и ея неуклюжею ибжностью, сплелась тончайшими нитями сь жалостью къ Расчкъ...

Аксинья любила сына озлобленною любовью, которая такъ обычна у бъдныхъ людей, и которая терзаеть объ стороны. Скудная, необезпеченная жизнь запутивала ее и подсказывала, что воть Митька вырастеть, запьянствуеть, самъ пропадеть и ее на старости бросить. Но какъ отвратить бъду, что дълать съ Митькою, чтобы онъ вышель человъкомъ, она не знала, и только смутно чувствовала, что въ кухиъ трудно возрастать. Она угрюмо хмурилась, всего боялась, часто вздыхала и охала.

Митя дожеваль блинь, и подошель къ окну, вытирая пальцы объ исподъ куртки. Изъ окна все казалось блъднымъ и скучнимъ. Видиълись кухни, гдъ стряцали, крыши, дымъ изъ трубъ, и блеклое небо. Митя легъ на подоконникъ, и смотрълъ на мощеный булыжникомъ дворъ. Раечка представилась ему, и то высокое окно.— онъ подумаль:

"Этакъ и каждый можеть унасть".

Первый разь, полусознательно, но уже со страхомь, отнесь онь къ себъ мысль о смерти. Это была невозможная и ужасная мысль,—еще страшитье, чъмъ думать, что Расчка упала и умерла, такъ просто, какъ разбивается ламповое стекло, если его бросить на камни.

Митя, дрожа, соскочиль съ подоконника. Онъ чувствоваль боль въ вискахъ и въ темени. Какъ-то нелъпо замахаль онъ руками, и пошель въ кухню. Тамъ Аксинья стояла у илиты, подперши рукою щеку, и уныло глядъла на огонь. Митя сказалъ:

— Мама, а что я видъль-то на проходномъ дворъ!

- Ну? сурово спросила мать, не поворачивая къ пему головы.
- Какъ дъвчонка шмякнулась съ четвертаго этажа и голову разбила.
 - Да что-ты!-векрикнула Аксинья.

Оть испуганнаго ея голоса Мить стало и страшно, и смёшно. Ухмыляясь, иногда хихикая, онъ подробно разсказаль, какъ Расчка унала. Аксинья ахала, испуганно и жалостливо, и смотръда на сына неподвижными, округлившимися глазами. Когда Митя разсказываль, какъ Расчка вскрикцула, онъ взвизгнулъ, какъ она, тонкимъ голосомъ, поблудиблъ и слегка присълъ.

- Такихъ-бы матерей...—со злобою начала Аксинія, не кончила, и вехлипнула. Андельчикъ! жалостно сказала она, вытирая слезы грязнымъ передникомъ, Богъ прибралъ, ей тамъ лучие будеть.
- Какъ она хряснулась!—задумчиво сказаль Митя. Мать опустила передникъ. Ея смоченное слезами и неподвижное лицо поразило мальчика. Онъ заплакалъ. Крупныя слезы быстро текли по его блъднымъ щекамъ. Но ему стыдно стало плакать. Онъ отвернулся и, понурившись, побрель въ свою каморку, съль въ уголъ на зеленый сундучокъ, и долго и горько плакалъ, закрываясь руками.

Вечеръло, и обычнымъ порядкомъ все шло, какъ всегда. Въ Митиныхъ настроеніяхъ была смута. Мелочи прэди въ глаза, и больно царапали душу, раньше мочти не замъчавшую ихъ. Хотълось еще разсказывать о Раечкъ, еще разжалобить кого-то. Когда пришла въ кухню горипчная Дарья, франтоватая дъвица съ лукавымъ лицомъ и гладко причесанными волосами, онъ и ей разсказалъ подробно. Но съ тупымъ равнодушіемъ слуша-

ла его Дарья, приглаживая передъ Аксиныннымь зеркальцемь, висъвнимь въ каморкъ на стънъ, свои волосы тараканьяго цвъта, отъ которыхъ нахло помадою.

- Тебъ развъ не жалко?-спросиль Митя.
- А что она мив, родная, что-ли?—съ глупымъ смъхомъ отвътила Дарья.—Жалъльщикъ вынскался, подика!
- Чего жалъть!—сказала мать, —всъхъ-бы васъ туда, и слава Богу. Воть ты, что вырастень? Иьяный мастеровщина будень!

"А если-бы Расчка выросла? — подумаль Митя. — Была-бы горинчная, какъ Дарья, помадилась-бы и косила-бы хитрые глаза"...

Митя пошель къ барынъ, дневникъ за недълю показать. Это барыня считала добрымъ дѣломъ,—заботиться о мальчишкъ, кухаркиномъ сынъ.

Пріятные, но странные, какъ даданъ, запахи въ комнатахъ оторвали Митю отъ мыслей о Расчкъ. Онъ боязливо подошелъ къ барынъ, которая сидъда въ гостиной на диванъ и раскладывала насьянсъ.

Урутина была полная, бълая отъ притираний и пудры. Баринини дъти,—сынъ гимназиеть, Отя, — Іосифъ,—и дочь Лидія, вертълись туть-же, и Отя дълалъ Митъ гримасы. У Оти выпуклие глаза и красное лицо. Лидія похожа на него, немного постарше. Волосы на лбу подстрижены. Аксинья и Дарья, въ своихъ разговорахъ, называють это челкою.

Барыня увидъла въ Митиномъ дневникъ единицу, и сдълала Митъ выговоръ. Митя поцъловалъ барынину руку,—такъ заведено.

Въ комнатахъ было нарядно и красиво. Мягкіе ковры дълали шаги неслышными, занавъсы и портьеры висъли

тяжелыми и строгими складками, мебель стояла удобная, бронза—дорогая, картины въ золоченыхъ рамахъ. Прежде Митъ правилось здъсь, — онъ входилъ сюда съ уваженіемъ и робостью, когда его звали, или когда господъ не было дома, и можно было любоваться всъмъ этимъ.

Сегодия красивость комнать въ первый разъ возмутила Митю. Онъ подумалъ:

"Расчка, бъдная, поди, ни разу въ такихъ хоромахъ не понграда."

"Да и настоящая-ти адъев красота?"—подумаль Митя. И пока Урутина, долго и скучно, объясняла ему, какъ стыдно лъниться, и какъ онъ долженъ дорожить тъмъ, что о немъ заботится сама барыня,—Митя думаль, что гдъ-то есть чертоги,—можетъ быть, у одного только царя,—и тамъ настоящая красота, и неисчернаемая росконь, и пахнеть, какъ у царя Соломона, невъдомыми благовоніями, смирною и ливаномъ. Въ такихъ-бы чертогахъ поиграть Расчкъ.

Когда уже Митя хотъль уходить, барыня сказала:

— Дарья мив говорила, что ты какую-то дввочку видъль, какь она упала изъ окна. Разскажи.

Митя, какъ всегда, испугался барынина повелительнаго и строгаго тона, и тотчасъ-же принялся разсказывать. Оть застънчивости онъ пожималь плечами, но разсказываль такъ-же подробно и съ жестами, и мало-помалу воодушевлялся. И опять онъ взвизгнуль, какъ Расчка, и при этомъ присълъ и поблъднълъ. Все это забавило и растрогало барыню и барчать.

— Какъ онъ мило разсказываеть! — воскликнула Лидія, подражая одной знакомой взрослой барышнъ и такъ же взмахивая руками. — Бъдная дъвочка! И она совсъмъ, до смерти ушиблась?

— До смерти, — сказалъ Митя.

Барыня дала ему конфетку, сладкую и линкую, въ илоеной бумажкъ. Митя любиль сладкое, и обрадовался.

III.

Митя сидъль въ своей каморкъ у окна, за деревяннимъ некрашеннымъ столомъ съ расколовшеюся доскою, синною къ матери, которая угрюмо вязала чулокъ. Наклоняя къ учебнику блъдное лицо съ трепетными губами и большимъ носомъ, который придавалъ ему какъ бы насмъщливое выраженіе, Митя съ усиліемъ заставляль себя запоминать заданное. Но грустно и жалостно вспоминалась Расчка. Глупая у нея мать,—не доглядъла!

Голова больла,—и Митя думаль, что это оть кухоннаго чада и оть прылаго запаха, который быль особенно замътенъ и обиденъ послъблагоуханія барскихъ покоевъ...

Мить вдругь захотьлось представить себь, какого роста Расчка: пожалуй, она достала-бы головою до его пояса.

Вет мънали читать: пришла Дарья и говорила съ Аксивьею о своемъ миломъ... Но надо учиться, чтобы опять не схватить единицы... Хлопнула выходная дверь, Дарья убъжала.

— О, чертова кукла!-крикнула Аксинья.

Митя не слышаль, изъ-за чего онъ поссорились; онъ посмотръль на мать. Аксинья вязала чулокъ, и сердито сжимала губы.

"Чертова кукла! — повторилъ Митя про себя, улыбаясь. — Должно быть, — подумалъ онъ, — это большая кукла, какъ человъкъ, и ею по ночамъ играють черти. А днемъ? Ну днемъ она живетъ, какъ всъ. Можетъ быть, и не знаеть, кто придеть за нею. Поглядъть-бы, думаль Митя, — какъ черть пграеть Дарьею. Можеть быть, онь дълаеть ее кошкою, выносить на крышу, и заставляеть бъгать и мяукать..."

Эти мечты смъщили и развлекали Митю. Онъ не замътилъ, какъ и мать ушла. Вдругъ среди тишины скрипнула дверь изъ коридора.

Митя оглянулся. На порогъ стоялъ Отя съ выраженіемъ напряженнаго любопытства въ випуклыхъ глазахъ. Онъ на цыпочкахъ, смъшно махая руками, подошелъ къ Митъ и спросилъ:

- Одинъ?
- Одинъ, сказалъ Митя.

Отя вышель тихонько, и вернулся черезь минуту вмѣсть съ Лидіею. Барышня улыбалась и казалась встревоженною.

— Послушай,—зашенталь Отя,—разскажи намъ еще про ту дівочку, про падучую.

Лидія захихикала,—отъ смінного слова,—она знала, что Отя придумаль его парочно,—и отъ ожиданія любонытнаго разсказа.

- Хорошо, - сказалъ Митя, и всталъ.

Нидія съла на его стуль, сложила руки на кольняхь и, не отрываясь, смотрѣла на Митю. Отя помѣстился на зеленомъ сундучкъ, поколачиваль кулаками по колѣнямъ, и дѣлалъ сестрѣ гримасы. Митя повторялъ разсказъ, какъ и прежде,—а въ концѣ, вспомнивъ, какъ взвыла мать надъ Расчкою, засмѣялся. Баришня при этомъ вздрогнула.

— Какой ты безчувственный,—съ неудовольствіемъ сказала она,—подумай, въдь дъвочкъ больно было! А ты вдругь смъешься!

— Да,—наставительно сказаль Отя,—ти, брать, не отличаенься тонкими чувствами. Надъ надучими дъвоч-ками не надо смъяться.

Митя вспомниль опять, какъ раскинулись Расчкины руки, и хруствуль ся черень, и кровь тонкою струйкою медленно поползла въ сфрий соръ. Митя заплакаль. Дъти поглядъли на него, переглянулись, захихикали. Имъ стало неловко. Они не знали, что говорить, и какъ уйти. Выручила барыня.

Она замътила, что дътей изтъ въ комнатахъ, и отправилась на поиски.

Она услышала голоса, постояла въ темномъ коридоръ, потомъ раснахнула дверь, и появилась на порогъ. Выпрямившись, закинувъ голову и высоко подымая густыя черныя брови, отъ которыхъ теперь было такъ близко до гладко-причесанныхъ волосъ, что это придавало ей глуный и смѣшней видъ, постояла она съ минуту,— и подъ ея сверкающими взорами всѣ трое застыли на мѣстахъ. Отя в Лидія пугливо смотрѣли на нее, одно-образно держали руки на колѣняхъ, и натянуто улыбалисъ. Митя исподлобья глядѣлъ на барыню, а крупныя свѣтлыя слезы медленно катились по худощавымъ щекамъ, и кадали на полинялую домашнюю блузу.

— Дъти, идите въ комнаты,—сказала наконецъ барыня,—вамъ здъсь нечего дълать. Что за мъсто, что за компанія!

Дъти поднялись. Пропустивъ ихъ впередъ, барыня пошла за ними.

Митя слышаль удаляющіеся звуки ея негодующаго голоса.

"Неприличное мъсто!" — обидчиво подумаль онъ, и оглянуль голня стыны каморки, досчатую перегородку,

убогія вещи, сундуки, —большой буро-красный, съ жестяною оковою, и маленькій зеленый, —окно, изъ котораго видны крыши, трубы и блеклое небо. Все б'ядно, грубо и жалко.

"Подкралась какъ! — подумалъ Митя про барыню:— отъ нея не утаншься, точно въдьма!"

Со двора, изъ открытаго окна чьей-то квартиры, доносилось томительно-нъжное пъніе флейты,—какъ Раечкинъ плачъ.

IV.

Митя раздълся и улегся на своей постели, которую мать разстилала ему на большомъ сундукъ; сама же она спала на кровати, втиснутой въ уголъ между перегородкою и дверью въ коридоръ и закрытой ситцевою пестрою занавъскою. Теперь Аксинья сидъла въ кухнъ,—еще будеть ужинъ барынинымъ гостямъ. Изъ-за досчатой перегородки на потолкъ и на полу виднълись свътовыя полоски, а здъсь, у Мити, тьма страшила. Митя закуталъ голову въ одъяло.

Прежде любиль онь, лежа, помечтать о невозможномь: о подвигахь, о славъ, и о чемъ-нибудь нъжномъ и тихомъ. Сегодия мечты стремились къ Раечкъ. Что теперь съ нею? Страшно, впотьмахъ, представлять ее мертвою. Страшно думать о томъ, что Раечку будуть отпъвать, зажгуть желтия свъчки, распустять въ воздухъ синій ладанъ,—и потомъ се зароють,—но не могь Митя не думать объ этомъ.

"Тамъ ей будеть лучше,—вспомниль онъ материны слова.—Какъ лучше?—съ недоумъніемъ подумаль онъ, и вдругь радостно догадался:—Да, она воскреснеть и будеть съ ангелами".

Все отчетливъе становился въ Митиномъ воображении Расчкинъ образъ. Какъ-будто кто-то дорисовывалъ его медленно и тщательно тусклымъ свинцовымъ карандашомъ,—и каждая новая черта внушала Митъ смъшання чувства страха, восхищенія, жалости.

Въ кухит Аксинья точила ножь о край илиты. Непріятный лязгъ мізналь заснуть. Митя высвободиль голову изъ-подъ одбяла, и тихонько позваль:

- Мама, а мама!
- Ну, чего тебь?—откликнулась мать.
- А Расчина мать не помреть?—спросилъ Митя.
- Кака така мать?
- А воть, что дъвочка-то расшиблась.
- Hy? отозвалась мать суровымь и досадливимь голосомь.
 - Такъ воть ея мать, говорю, не помреть?
 - Съ чего ей помпрать-то?
- A съ горя по Расчкъ, тихо сказалъ Митя, и слезы покатились изъ глазъ, моча ему щеки и подушку.
- Син, дуракъ, син, когда легъ,— съ досадою сказала Аксинья.—Всъ-бы съ такого горя помирали, такъ и людей бы въ Рассен не осталось.
- Такъ что-жъ такое?—отчаяннымъ голосомъ спросилъ Митя, всхлипывая.
 - А то, что сии, —безь тебя тошно.

Митя замолчаль. Точно слезы утомили его, — онь начать дремать. Въ утомленномъ ухъ мучительно-тонко запъла нъжная свиръль, потомъ загудъль тихій колоколь, все закружилось и пропало. Только высоко, въ окнъ, ясная, веселая, смъялась Раечка.

"Она воскресла!"—радостно подумать Митя,—и что то воскресно-свътлое лепетала ему Расчка.

Митя участвоваль въ школьномъ хоръ, который пъль въ одной изъ приходскихъ церквей. Въ хоръ Митею дорожили за върный слухъ и за отличный голосъ, — чистый, сильный альтъ. Онъ и самъ любилъ пъть. Особенно ему правились свадьбы и отпъванія. Вънчальныя пъсни веселили, надгробныя — возбуждали пріятно-печальныя настроенія.

Утромъ въ воскресенье Митя пришелъ къ объдиъ. Сбирались прихожане. Колокольный звонъ торжествентихомъ осеннемь воздухъ. Мальчики но илыль въ пъвчіе толкались, шумъли и шалили въ церковной оградъ и на паперти. Бъленькій, маленькій Душицынь свъжимъ и нъжнымъ голосомъ говорилъ ругательныя слова, сохраняя на лицъ невинное и кроткое выраженіе. Пришелъ и регенть, учитель Галой, коротенькій, чахленькій, съ неподвижнымъ румянцемъ киринчнаго цвъта на щекахъ и съ длинною жиденькою бородкою, которая казалась приклеенною. Появился онъ внезанно, словно вырось на улиць и вынырнуль изъ вороть въ оградъ. Мальчики побъжали къ наперти, кланяясь учителю, кто съ преувеличенною почтительностью, кто съ небрежнымъ и недовольнымъ видомъ. Митя снялъ шапку неловко, точно сомнъвался, надо-ли это дълать, помазаль ею себя по щекъ, посмотрълъ на учителя, щурясь, какъ отъ солнца, опять надъль шапку, и слегка сдвинуль ее на затылокъ. Галой остановился на паперти. Митя подошель къ нему.

[—] Чего тебъ?—покашливая, спросиль учитель дребезжащимь и тонкимь голосомь.

- Позвольте домой, Димитрій Дементьевичь, —тихонько и робко попросился Митя.
- Здравствуйте! воскликнулъ Галой, тараща на Митю маленькіе глазки. Всѣ уйдуть, а я съ кѣмъ останусь?
- Голова болить, Димитрій Дементьевичь, —жалобно объясняль Митя, морщась и хмурясь.

Его блъдное лицо и посинълня губы доказывали учителю, что онъ не обманываеть.

- Отчего же у тебя голова болить?—спросиль Галой, неодобрительно потряхивая бородкою.
 - Не знаю, -- робко отвътилъ Митя.
- Да я тебя о чемъ спрашиваю?—пискливо крикнулъ Галой.

Митя въ недоумъніи молчалъ.

- Ты, милостивый государь, болвань, и все. Я тебя о чемъ спраниваю?
 - Отчего болить голова, повториль Митя.
- Ну да, а вовсе не о томъ, знаешь ты это или не знаешь. Отчего болить голова? Говори, и все.

Митя не зналъ, что сказать, и смущенно улыбался.

— Дрова носомъ рубилъ,—сказалъ краснощекій Каргановъ, хмурясь, чтобы не засм'яться.

Школьники, столинвшіеся вокругь, захохотали. Михъевъ, большеголовый, большеглазый малышъ, подсказаль шопотомъ:

- Оть неизвъстной причины.
- Ну?-настанваль Галой,-говори.
- Оть неизвъстной причины, сказаль Митя.
- Ну воть. Отправляйся, и все.

Митя поклонился и вышель изъ ограды. Но онь не пошель домой. Постоянное послушание стало ему, какъ

прогулять. Когда его отпустили, ему стало радостно и легко. По грустныя предчувствія и неотступная боль въ голов'в скоро стали затмевать его радость.

Митя пошеть къ заставъ, подальше отъ шумныхъ, закованныхъ въ камии, улицъ. Холодный вътеръ набъгалъ порывами. Везоблачное небо висъло ясное и печальное, словно утомленное. Деревья стояли пыльныя и скучныя. По вътру поднималась пыль. Она мъщала итти и видъть...

На кладбицф, въ дальнемъ участкф, гдф мфста дешевия, Митя отыскалъ отцову могилу,— и долго сидфлъ на ней, прижавнись къ бфлому кресту, думая о Раечкф и о себф. Безконечния тянулись могилы, и сосны, и кресты,—и тишина стояла невозмутимая. Только изрфдка ворона закаркаетъ, пролетая, да вфтеръ набфжитъ и зашелеститъ листьями.

Раечка вспоминалась Митѣ отчетливо и подробно. Митѣ хотѣлось представить ее какъ можно яснѣе, и онъ закрыль глаза... Свѣтлыя Раечкины кудри,—видѣлось ему,—падають до плечъ. На Раечкѣ блекло-желтое платьице, запыленные башмачки. Она стоитъ блѣдная. На щекѣ алая струйка. Раечкѣ не больно,—она-же сразу умерла, и теперь воскресла. Но зачѣмъ она неподвижная?

Митя напрягалъ воображеніе,—ему хотълось, чтобъ Расчка хоть глазки открыла. Какіе у нея глазки?

И воть ему привидѣлось, что она открыла глаза,— синіе, покойные, какъ ясное небо,—и въ Митиной душѣ стало ясно и торжественно. Ему казалось, что Раечка тихо идеть, едва переступая по камиямъ,—и желтая юбочка ея чуть-чуть колеблется.

Митя открыль глаза,—и милое видбие исчезло, и онять глазамь предстало земное и смертное. Митя побрель тихонько съ кладбища, грустно понурясь, печально думая о Расчкъ. Онъ вышель черезь другія ворота, къ полю. За кладбищенскою оградою, на пустынной и пыльной дорогь, онъ запъль:

"Молитву пролію ко Господу, и тому возв'вщу нечали моя, яко золь душа моя исполнися"...

Высокій альть его звен'яль. Деревья слушали, трава шелествла подъ ногами. Непонятное обътованіе какой-то дивной радости сіяло въ ясномъ днъ и въ солнцъ...

VI.

Въ училищъ Митъ скучно. Уроки пеннтересные, и все надо бояться, какъ бы не спросили чего-нибудь труднаго и не поставили единицы. На перемънахъ ему не весело.

Ученики изъ разныхъ классовъ собрались, какъ всегда на перемънъ, въ затъ, и принялись шалить и возиться. Иные усълись на лавкахъ вдоль стънъ, и тамъ толкались и жали другъ друга. Залъ былъ небольшой и несвътлый: опъ помъщался внизу, и свътъ затъняли деревья въ саду, да близкая стъна сосъдняго высокаго дома, кирпичная, голая, безъ оконъ и безъ жизни. Въ углу въ залъ темнълъ тяжелый кіотъ, и за нимъ сгущалась тьма.

Школьники казались скученными, какъ стадо. Они возились, роняли одинъ другого на полъ, бъгали, играючи въ пятнашки, наталкивались другъ на друга. Иные поглощали завтраки,—принесенный изъ дому хлъбъ, купленную у сторожа булку. Отъ пили воздухъ мглился,

и садинло въ груди. Надъ неподвижно-ровнымъ крикомъ и шумомъ иногда подымался вдругъ чей-нибудь визгъ.

Митя сидъль на скамьъ. Между мальчиками, гдъ ихъ кучка сбилась поплотиъй, гдъ вздымались пыль и мгла и мелькали руки и лица, померещилась ему Раечка. На солицъ тускло блеснули ея свътлые волосы, радостныя радужныя линіи пробъжали вокругь нея, чистый голосокъ ея прозвенъль,—пылью разсыпалась она, и скрылась.

Кого-то повалили, разбили стекло въ окнъ, закричали—"ура!"—и подняли неистовый вой. Завылъ и Митя, протяжно, тихо.

Въ учительскую донеслись крики и вой. Дежурный учитель, Ардальонъ Сергъевичъ Коробицынъ, блъдный, бритый, длинный и тонкій, лъниво отправился въ залъ. При его появленіи шумъ немного затихъ. Отъ разбитаго стекла разбъжались. Но нашлись добровольные доносчики. Виновные были найдены.

Тумакинъ, мальчикъ съ въчно-озабоченнымъ выраженіемъ на веснущчатомъ лицъ, подбъжалъ къ Митъ и защенталъ:

- Давай дразнить Ардальошку!
- А какъ?-спросиль Митя, радуясь развлеченю.
- Зашинимъ!

Едва Коробицынъ вышелъ изъ залы въ корридоръ, гдъ уже толпились школьники, какъ въ залъ зашипълъ сперва Чумакинъ, а за нимъ и другіе. Коробицинъ вернулся и остановился въ дверяхъ. Чумакинъ, въ сторонъ отъ его взора, продолжалъ шипътъ.

— Шипи, не увидить!—шепнуль онъ Мить, самъ прячась за него. Митя защинълъ. Коробицынъ не зналъ, уйти-ли, унимать-ли шалуновъ. Ему было все равно. Но онъ вошелъ въ залу, на самую середину, сталъ присматриваться, прислушиваться, и почувствовалъ, что трудно открыть шалуновъ: они мирно разговаривали, когда онъ на нихъ смотрълъ, и начинали шинътъ, едва онъ отведеть глаза въ другую сторону, къ толиъ другихъ сорванцовъ. Коробицинъ внезанно разсердился, и покраснълъ.

А Митя, между тъмъ, выдвинулся на средину, улыбался и тихонько шипълъ, не думая о томъ, что дъластъ,—и Коробицынъ почти натолкнулся на него.

— Давай дневникъ!—сердито крикнулъ Митъ Коробицынъ.

Тягостное недоумъніе охватило Митю.

- Да я ничего не дълалъ!-оправдывался онъ.
- Давай дневникъ, упрямо повторилъ Коробицынъ, стискивая зубы.
- Да за что-же, спросите другихъ, я не шипълъ, съ внезаиною досадою говорилъ Митя.
 - Дневникъ! яростио крикнулъ Коробицынъ.

Его высокій голось съ некрасивою ръзкостью пронесся подъ низкимъ потолкомъ. Митя медленно прошель въ классъ за дневникомъ, и заворчалъ:

— Ни за что, зря записывають.

Коробицинъ услышаль, и задрожаль оть злости.

— Ахъ ты, осель ты этакій!—закричаль онь вслъдь Мить,—хорошо-же. Неси свой дневникь въ учительскую.

И онъ отправился въ учительскую, уже не глядя на мальчишекъ, которые продолжали шипъть за его спиною. Ему опять стало все равно.

Митя сказаль матери, что ему надо на ситвку. Такимь образомь, время оть четырехь до восьми часовь стало у него свободно. Онъ ушель. Но было не весело. Звонили къ вечернъ,—и звонъ наводиль тоску. Небо, полиняло-голубого цвъта, словно ветхое, висъло надъ кровлями низко; тускло-сърыя тучи медленно двигались по его блеклой синевъ.

У Мити томительно-тупо болъла голова. Расчка вспоминалась такъ ясно, —и Митя думаль, что она не такая, какъ всъ. Волосы ся разсыпались по спинъ ниже плечъ. Все проходило свади ся призрачнаго тъла, и она оставалась, не васлоняя міра, не смъщиваясь съ нимъ, советь особая. Иногда Митъ казалось, что она подходить близко, чуть не касаясь головою его груди.

Онъ долго и быстро ходиль по улицамъ громаднаго и суроваго города, погруженный въ мимовольныя мечтанія,—и не чувствоваль усталости. Имяьные вихри, дымовые столбы и облака слагались для него въ Расчкинъ образъ. Но разсыпалась пыль, развъивался димъ, убъгали облака,—безобразная обычность снова представала и томила Митю.

Прозрачный и легчайшій Расчкинь образь опять придвигался къ нему, и Мить опять казалось, что Расчка проходила, въ бъломь плать и въ бълыхъ башмакахъ, опоясанная бълою лентою, украшенная бълыми цвътами на груди. Она проходила, ясная, и не звала Митю, но какъ-будто жалъла,—и Митя шель за нею...

Митя забрель на одну изъ дальнихъ улицъ. Тамъ опъ увидѣлъ издали учителя Коробицына, который шелъ быстрою походкой, длинний, тонкій, блѣдный и злой.

Митя испугался и бросился въ ближайшія ворота. Подъ сводами, расписанными въ клѣтку блеклыми узорами, было темно и гулко. Митя прижался къ стѣнѣ. Онъ хотѣль переждать, пока пройдеть Коробицынь. Но что, если учитель увидѣль его и сейчасъ завернеть подъ ворота, схватить Митю, и закричить на него?

Митя не могъ устоять на мъстъ, и вошель во дворъ. Ему показалось, что Коробицынь уже подъ воротами. Митя проворно перебъжаль дворъ, и укрылся на лъстницъ въ заднемъ флигелъ.

Но едва только онъ остановился тамъ, какъ во дворъ, на камияхъ послышались шаги. Митя побъжалъ вверхъ по лъстницъ. Паги позади него раздавались по каменнымъ ступенямъ тяжело и мърно,—и Митя подымался все выше. У него ноги подкашивались отъ усталости и страха.

Воть наконець чердакъ. Дверь не замкнута. Митя отвориль ее, и вошель въ темный коридоръ. Шаги, преслъдовавшие его, остановились на послъдней площадкъ. Послышался стукъ,—отворилась и затворилась за вошедшимъ дверь. Мгновенная радость безопасности охватила Митю. Онъ понялъ, что то былъ не Коробицынъ, а какойто здъшний жилецъ. Митя выглянуль изъ двери, увидълъ, что на лъстницъ никого нъть, и уже хотълъ уходить. Вдругъ близкіе и тихіе звуки привлекли его вниманіе. Кто-то читаль вслухъ, здъсь гдъ-то, близко. Митя осмотрълся. Воть еще дверь, на самый чердакъ, полуоткрытая. Изъ нея сърая свътовая полоса падала въ коридоръ, и черезъ нее-же слышался голосъ, ясный, тихій и быстрый.

Митя постояль у двери, потянуль ее къ себъ, и вошельна чердакъ. Пришлось нагнуться, —близки стропила. У окна на чердакъ сидъли двое, старуха и дъвочка, но виду лътъ пятнадцати. Старуха вязала чулокъ, дъвочка читала толстую книгу. Онъ сидъли одна къ другой лицомъ, старуха на сундучкъ, дъвочка на складномъ тонкомъ стулъ. Свътъ изъ окна падалъ между ними, на ихъ колъни. Спицы тихонько звякали и тускло сверкали въ быстрыхъ старухиныхъ рукахъ.

Митя перешагнуль черезь высокую балку. Видио было, что здѣсь живуть,—прибрано и подметено.

Блъдная и некрасивая дъвочка подняла глаза отъ книги, и смотръла на Митю спокойно и кротко. Митя разсматривалъ ее, и дивился. Она была вся такъ тонка и блъдна, что въ полумилъ, за свътомъ, падавшимъ на книгу, казалась почти безтълесною. Тонкія косточки спереди на шет выдавались подъ кожею: дъвочка была въ сарафанъ и рубашкъ, открывавшей руки и илечи. Сарафанъ—ситцевий, блъдно-зелений съ крашинками, полинялый, уже короткій для дъвочки. Руки и ноги желтоватыя, словно вылъпленныя изъ воска. Щеки у дъвочки худыя, роть большой, глаза сърме. Волосы свътлие, гладкіе, въ косичкъ; косичка топкая, до пояса. Дъвочка сидъла спокойная, тихо дыша, — почти не дыша, — какъ не живая, — но милая. И сердце Митино влеклось къ ней.

— Садись, мальчикъ, отдохни; ты, я вижу, притомился, — сказала она явственно-тихо и неторопливо, и отложила книгу.

Митя съть на балку, близь дъвочки. Все ему было здъсь странно,—и оть того, что близка крыша, представлялось, что они всъ сидять необычайно высоко.

- Ты откуда такой взялся? -спросила старуха.
- Да я гуляль, разсказаль Митя, а нашъ учи-

тель увидель, — я въ городскомъ учусь, — такъ я отъ. него убъжаль, да сюда и попаль, — а то-бы онъ присталь отчитывать.

— Шалунишка, -- молвила старуха.

Она продолжала вязать, и сидъла спокойная, словно дремала, или ужъ устала очень. Лицо у нея было неподвижное, темное, морщинистое. Объ говорили тихо, какъ будто издали доносились ихъ голоса.

- Пусть отдохнеть, что намь,— сказала дівочка.— Меня Дуней звать, а тебя?
 - Митя. А фамилія—Дармостукъ.
- Дармостукъ, повторила дъвочка, и не улыбнулась.—А мы Власовы.
- Ну? Власовы?—съ радостнымъ удивленіемъ переспросиль Митя:—у меня учитель быль Власовъ, добрый такой, только онъ померъ. А васъ какъ надозвать?—обратился онъ къ старухъ.
- Знакомець вынекался, знакомится, съ легкою усмънкою сказала старуха.

Дуня отвътила за нее:

- Катерина Васильевна.
- А вы что-же здъсь?—спранивалъ Митя.
- Мы съ мамочкой здъсь живемъ, объяснила Дуня, — потому-что мамочка теперь безъ мъста. Наша знакомая, одна кухарка здъщняя, пустила насъ сюда, только ея барыня не знаетъ.
 - А какъ-же вы, когда бълье въшали?
- A мы кочевали на другіе чердаки,—отв'ячала д'ввочка спокойно.
 - А гдб-же вы спите?
 - Когда на кухив, если можно, а то чаще здъсь.

Если здѣсь, то надо рано ложиться: огня жечь нельзя,— пожаръ сдѣлаешь.

— И лампадки не затеплишь, -сказала мать.

Въ углу висъть образъ, но безъ лампады. Странно было видъть, что онъ такъ низко.

— Что-жъ такое, — сказала Дуня, — ночью звъзды свътять. Каждая звъзда, какъ лампадка хрустальная.

Она перевела спокойные, ясные глаза на окно, и протянула къ нему тонкую руку. Митя, повинуясь ея указанію, подошель къ окну, и увидыль близкое, ясное небо. Митино сердце дрогнуло оть радости.

— Какъ близко небо-то! — тихо сказалъ онъ, и оглянулся на Дуню.

Дъвочка положила руки на колъни, и сидъла тихо, какъ не живая. Митя опять приникъ къ окну.

Пустынное близкое небо... Желъзная крыша, — и дальше крыши да трубы... И такъ тихо, какъ-будто и нътъ никого около Мити, и не дышить никто. Тихо!

Митя отвернулся оть окна. Объ сидъли смирио. Сницы звенъли, какъ муха жужжить. Жутко стало Митъ. И старуха, и дъвочка молча смотръли на него.

— Какъ у васъ туть тихо! – сказалъ Митя.

Онъ молчали. У Мити кружилась голова. Онъ думалъ, что ночью эдъсь страшно. Въ углахъ дежала мгла. Крыша часто шелестъла, какъ-будто кто-то легкій пробъталъ по ней. Съ лъстницы доносились порою глухіе отзвуки отъ шаговъ, голосовъ, хлопанья дверьми.

- А вамъ не страшно?-спросилъ Митя.
- Кого, глупый мальчикъ?—ласково спросила Дуня. Митя застънчиво улыбнулся и сказалъ:
- Домового.
- Домовой не тронеть, -съ легкою усмънкою отвъ-

чала Дуня.—Воть намъ дворниковъ приходится бояться, какъ бы не согнали, и хозянна домоваго. Отъ нихъ не отчураешься, коли захотять выгнать.

- Въ ночлежномъ-то по пятаку припасай съ носа, гривенникъ за ночь, легко сказать!—заговорила старуха, и въ ея голосъ послышался испугъ.
- Воть вы скоро мѣсто найдете,— сказаль Митя, тогда отсюда съѣдете.
- Дай-то Богь, дай-то Богь, сказала старая, вздыхая. Митя помолчаль, думая, чъмъ-бы еще утъщить Дуню и Дупину мать.

"Не разсказать-ли имъ про Расчку?"—подумалъ онъ.

VIII.

— Воть какое діло я на дняхъ виділь, —подумавь немного, сказаль Митя.

И онъ разсказалъ о Расчкъ. Дуня дрожала и смотръла на Митю испуганными глазами. Когда Митя кончилъ, она, съ тихимъ ужасомъ въ глазахъ и въ голосъ, промолвила:

- Бъдная женщина, воть ей горе-то!
- Это вы про мать?—съ удивленіемь спросиль Митя. Дуня молча наклопила голову.
- Въдь она сама не доглядъла, она и виновата,— возразиль Митя. А воть дъвочка-то бъдная, какъ страшно!

Онъ вадрогнулъ. Туная боль въ затылкъ мучила его.

- Что дъвочка,—сказала Дуня,—Богъ прибраль, отъ гръха спасъ, умерна смъючись да играючи. А матери гдъ-жъ было углядъть,—человъкъ рабочій!...
 - Горбомъ-то немного достанешь, подхватила ста-

руха, — тоже, нянекъ не нанимаешься. Нашихъ ребять Богъ бережеть. А взяль, — Его святая воля. Что наша жизнь? Не живемъ, только маемся.

Митя закрыль глаза,—Раечка вспомнилась,—она прошла улыбаясь, протягивая къ Мить бълыя руки. На ея лицъ сіяло счастье. Она была блъдная и въ крови,—но ей не больно было; радостно пахли ладономъ ея свътлыя кудри.

— Какъ во сиъ живемъ, —медленно говорила Дуня, глядя на близкое и блъдное небо, —и ничего не знаемъ, что къ чему. И о себъ ничего не знаемъ, и есть-ли мы, или нътъ. Ангелы сны видять страшные, —вотъ и вся жизнь наша.

Митя глядъть на Дуню, улыбаясь — и радостно, и нокорно. Онъ чувствоваль теперь, что не больно умирать: только покоряйся тому, что будеть.

— A мить она померещилась сегодня,—тихо сказалъ онъ.

Дуня вздохнула, и Митя радостно подумаль:— "Это— Расчка дышить",—но сейчась-же спохватился и поняль, что это—Дуня.

- Ты молись, посовътовала она.
- За Расчку?-спросиль Митя.
- За себя, Расчкъ и такъ хорошо, —сказала Дуня, и лицо ся озарилось нечальною и свътлою улыбкою.

Митя помолчаль и потомь началь разсказывать про учителей, какь онь ихь боится, и какь они кричать.

— И откуда они, учителя, иной разъ берутся! Идешь себъ по улицъ, ничего не думаешь, а вдругь онъ, да какъ крикнеть!

Митя развель руками съ видомъ недоумънія, и какъто глупо разсмъялся. Онъ началь говорить, какъ и онъ,

такъ-же тихо, но онъ слышали, — привыкли къ ти-хому.

- Я тоже училась, въ прогимназін,— сказала Дуня.— Теперь не хожу. Воть, Богь дасть, еще шесть мъсяцевъ туда похожу, сдамь экзамень на сельскую учительницу. Получу мъсто,—поъдемъ съ мамочкой въ деревню.
- Все несправки наши; обносились совсѣмъ, угрюмо сказала мать. Скареды наши хоть-бы юбчонкой помогли.
- Безъ нихъ обойдемся, мамочка,—спокойно возразила Дуня.—Это мамочка про нашу родственницу одну,—объяснила она Мить.—У нея мужъ на хорошемъ мъстъ. Только имъ самимъ много надо, у нихъ дъти.
- Я имъ помогала, съ раздражениемъ говорила мать. Какъ они нуждались, нашего съ Дунечкой не мало имъ пошло. Себя обрывала, потому-что я къ чужому горю очень воспримчива. Вдругъ она теперь все забыла. Воть это меня и возмущаетъ. Помилуй скажи! Заработка такая хорошая, и сейчасъ человъкъ о себъ зазнается.
 - А вы у нихъ бываете?—спросилъ Митя.
- Пошли съ Дунькой на-дияхъ, отвътила старуха, досадливо усмъхаясь своимъ восноминаніямъ. Приняли, хаять нечего, по хорошему, разсказывала она, и сейчасъ это закуска. Чего-чего не наставили на столъ! А пошли домой, хоть-бы тебъ, скажи, рваную тряпчонку дали!
 - Мамочка!-съ тихимъ укоромъ сказала Дуня.
- Зная свою родную сестру въ такой нищетъ, въ бъдности, —продолжала не слушая мать, —и онъ не могутъ какой-нибудь пятеркой, десяткой, чтобъ пере-

вернуться! Закусокъ рублей на десять, а мы съ голоду помпраемъ.

— Мамочка!—онять сказала Дуня погромче и ръшительнъе.

Но старуха быстро бормотала свои жалобы, и все вязала, наклоняясь къ спицамъ, словно дремля.

— Буквально все позаложили, попродали! Положеніе!—говорила она.—Прямо не везеть въ жизни людямъ. Зовуть: приходи, говорять, мы вамъ съ Дунящей завсегда очень рады, потому какъ мы васъ любимъ и очень обожаемъ,—это они-то намъ говорять. Помилуй скажи! Если ты меня такъ любишь, такъ докажи, сдълай твое одолженіе. Нътъ, это не есть любовь, это—лесть одна.

Смутныя воспоминанія пронеслись въ Митиномъ сознаніи,—онъ подумаль: "Не жаловался-ли кто-то когда-то раньше этими-же словами?"

Дуня сидвла прямая, неподвижная, положа руки на кольни, полузакрывъ глаза,—казалось, что она дремлеть. Въ послъднихъ солнечныхъ лучахъ спокойное лицо ел напоминало Митъ покой на лицъ у Расчки.

- А если вы не напдете мъста?-спросилъ Митя.
- Какъ не найти! Не дай Богъ!—съ тревогою въ голосъ отвътила старуха.
- Богь устроить,—спокойно сказала Дуня,—а захочеть, прибереть. Это мы думаемь, дъться некуда,—а дверь-то рядомъ.

Тонкою и бледною рукою она показала на вечеревощее небо. Митя поглядель по направленію ся руки, въ окно. Старуха продолжала бормотать свои жалобы. Дуня смотрела на нее светло и строго. Она сказала:

- Мамочка, не ропщи! Богъ съ ними, намъ ихняго не надо.
- A ты мать не учи,—сердито сказала старуха, возвышая голосъ.—Косы я тебъ давно не чесала.
- Такъ ты, мамочка, на мив и облегчи сердце, а ихъ не брани, -- спокойно отвътила Дуня.

Мать сразу успоконлась, и сказала ворчинво, но уже мирно:

— Кого чъмъ Богъ накажеть. У богатыхъ характерныя дъти, быются съ ними родители, а моя-то голубка кроткая, и сорвать сердца не на комъ.

Дуня улыбнулась, и вдругь оть этой улыбки вся засіяла и зарадовалась. Митя думаль:

"Такъ только Расчкъ улыбаться!"

И радостно стало ему.

- Хочень, Митя, я тебъ свои картинки покажу? спросила Дуня.
 - Покажи, сказаль Митя.

Дуня встала, — она была немного выше Мити, — пошла, сгибаясь подъ крышею, въ уголъ, порылась тамъ
въ сундукъ, и черезъ минуту вернулась съ наикою,
завязанною по краямъ тесемочкою. Панка уже была
истертая, съ обломанными краями, и тесемочки отрепанныя, — но по тому, какъ Дуня держала напку въ рукахъ
и какъ на нее смотръла, Митя догадался, что здъсь ея
самыя дорогія и любимыя вещи. Дуня съла на балку
рядомъ съ Митею, положила панку на кольни, неторопливо развязала тесемку, улыбаясь радостно и свътло, и раскрыла папку. Тамъ лежали пожелтьлые отъ
времени, иные порванные, рисунки изъ старыхъ иллюстрацій. Дуня осторожно перебирала ихъ тонкими и
блъдными пальцами. Она выбрала одинъ, самый жел-

тый и растренанный, снимокъ съ какой-то старой картины, и передала его Митъ.

— Это—хорошія картинки!—съ убъжденіемъ сказала она.—Онъ у меня вмъсто куколъ. Я ихъ люблю.

Митя взглянуль на дѣвочку. Она застѣнчиво потупилась, и щеки ея слабо зарумянились. Митя опустиль глаза на рисунокъ. Рисунокъ туманился и расплывался. Жалость томила Митино сердце. Что-то горькое и щекочущее подступало къ горлу. Митя выпустилъ рисунокъ изъ рукъ, закрылъ лицо ладонями, и заплакалъ, самъ не зная, о чемъ.

- Что ты, милый?—спросила Дуня, наклоняясь къ нему.
 - Расчка, шенталъ Митя, и плакалъ, плакалъ.

Дуня положила руку на Митины плечи,—Митя прильнуль къ ней, обняль ее и, горько плача, чувствоваль на своихъ щекахъ Дунины тихія слезы.

- Митя, утъшься, тихо сказала Дуня, хочень, я тебъ пъсенку спою?
 - Спой, —сквозь слезы сказаль Митя.

И Дуня утъщала его тихими пъсенками...

1X.

Онъ ушелъ отъ Власовихъ, когда уже свечеръло. Наверху еще были свътлыя сумерки, тишина и ясныя ръчи,—а виизу бистро темиъло, зажигались фонари.

Все было призрачно и мимолетно.

Молча горъли газовые рожки въ фонаряхъ; съ грохотомъ проносились экипажи по жесткой мостовой; окна въ магазинахъ свътились огнями; шли, стуча сапогами по каменнымъ плитамъ, случайные, ненужные и безобразные люди, и не останавливались,—и Митя торопился. Звонки конокъ и крики извозчиковъ иногда пробуждали его изъ міра зыбкихъ иллюзій, который вновь создавали ему молчаливые предметы при невърномъ, переходящемъ освъщеніи.

Люди были непохожи на людей: шли русалки съ манящими глазами, странно-бъльми лицами и тихо журчащимъ смъхомъ,—шли какіе-то, въ черномъ, злые и нечистые, словно извергнутие адомъ,—домовые подстерегали у воротъ,—и еще какіе-то предметы, длинные, стоячіе, были какъ оборотни.

Мить хотьлось иногда представить себъ Дуню, но ея образъ въ его памяти смънивался съ Раечкинымъ, хотя Митя и зналъ, что у Дуни совсъмъ другое лицо. И вдругъ онъ подумалъ: "Да ужъ не померещилась-ли Дуня?

"Нать,— сейчась-же подумаль онь,— она — живая: въдь у нея тоже есть мать. Но какое лицо у старой?"

Мить приноминались отдыльныя черты,—морщины, съдъюще волосы подъ илаткомъ, худыя щеки, большой роть, морщинистыя, быстрыя руки,—но общаго образа не складывалось.

Когда Митя уже подымался по своей лъстницъ домой, въ сумракъ онъ увидълъ Расчку. Быстро пропила она по площадкъ, и тихонько улыбнулась ему. Она была вся прозрачная, и все при ней оставалось попрежнему. Исчезла она, и Митя не могъ понять,—видълъ-ли ес, или только подумалъ о ней.

X.

На слъдующій день Митя вышель изъ дому на полчаса раньше обыкновеннаго. Свъжее утро веселило его.

Солице сіяло неяркое, и еле зам'ятная мілистая дымка лежала на узкихъ городскихъ даляхъ. Озабоченние люди быстро проходили, и уже ранніе школьники начали показываться на улицахъ. Митя, едва завернувъ за первый уголъ, отправился не къ своему училищу, а въ другую сторону. Онъ торопился, чтобы не встрътиться съ къмъ-нибудь изъ товарищей или учителей.

Вчера онъ не замѣчалъ дороги,— она механически запомнилась. Скоро Митя попалъ на тѣ улицы, по которымъ вчера возвращался. Онъ чувствовалъ, что идеть, куда надо, и думалъ о Дунѣ и о Дуниной матери.

"Бъдныя онъ!—думалъ онъ,—должно быть, онъ уже давно безъ мъста, и долго живутъ на чердакъ впроголодь. Оттого онъ стали такія блъдныя, Дуня пожелтъла, старуха все нагибается надъ чулкомъ и словно дремлеть, и объ такъ тихо говорять, какъ-будто бредять и начинають засынать".

Утреннія улицы, и дома, и камни, и мглистыя дали,—все дремало. Казалось, что всё эти предметы хотять стряхнуть съ себя дремоту, и не могуть, и что-то ихъ клонить книзу. Только димъ да облака, дремля и пробуждаясь, подымались высоко.

Среди колеснаго треска и смутнаго людского говора иногда слышался вдругь Раечкинъ голосъ, прозвучить и смолкнеть. Раечкино дыханіе иногда проносилось близко къ Митъ, какъ легкій утренній вътеръ. Сама Раечка припоминалась, прекрасная и свътлая. Туманный и легкій Раечкинъ образъ носился въ неяркихъ солнечныхъ лучахъ, въ лиловомъ утреннемъ озареніи...

Митя вобжаль на чердакъ, такъ поспъшно, что ударился головою о стропила. Боль заставила его по-

бледиеть. Но онъ улыбнулся и подошель къ Власовимъ.

Дуня у окна заплетала русые волосы въ крутую косичку. Какъ и вчера, Дуня и мать сидъли одна противъ другой. Мать вязала, и спицы жужжали въ ея быстрыхъ рукахъ. Она посмотръла на Митю внимательно и сказала:

- -- Заявился, другъ вчерашній, ни свъть, ни заря.
- Туть надо осторожные, Митя, сказала Дуня.— Въ школу идешь? Присядь, отдохни, коли есть время.
- -- Хоромы у насъ, бормотала старуха, —съ непревычки-то и мы головами стукались.

Солнечные лучи сбоку падали въ окно. Пыльный столбъ свътился на солнцъ. На пыливкахъ мелькали радужныя блестки. Въ углахъ было сумрачно. Митя сидълъ на балкъ, и смотрълъ на прекрасныя, тонкія Дунины руки. Ея лицо казалось утомленнымъ, и сърые глаза глядъли какъ-бы нехотя. Она говорила тихо и нетороиливо, —Митя слушалъ, радуясь ся голосу и забывая ея слова. Вдругъ старуха сказала:

— Что, другь сердечный, таракань запечный, не пора ли въ школу?

Митя покрасифиь и пробормоталь:

- Я лучше у васъпосижу, не хочется въ училище.
- Мало чего не хочется, да коли надо, спокойно возразила старуха.
- И то, Митя, бъги скоръе, сказала Дуня, еще опоздаешь: солнце, смотри-ка, какъ высоко.

Митя не подумаль раньше о томъ, что его здъсь не оставять. Онъ смущение попрощадся и вышель. Въ темномъ корридоръ онъ пошариль на полу, отыскалъ скважину между досками, и сунуль туда книги.

На улиць онъ почувствовать, что все ему не нужно, предстоящее передъ нимъ, въ этомъ громадномъ и суровомъ городъ,—длинныя улицы съ большими домами, и люди, и камни, и воздухъ, и шумъ отъ уличнаго движенія. Скучно, и надо такъ ходить, чтобы не встрътить учителей или товарищей...

"Не хочеть Дуня, чтобы я прогудиваль уроки!—дивясь, думаль Митя.—Странная! Воть Расчкъ все равно, какой Митя: лжеть-ли онь людямь, или нъть. И если есть тоска, то не Расчкива, а по Расчкъ".

Легкій дождь пронесся надъ городомь, какъ плачь по Расчкъ. Но уже черезъ полчаса оть него и слъда не осталось...

Митя забрель на городскую окраину. Базарная илощадь, — большой пустырь. Булыжники громадии. Посрединь, по длиному поперечнику площади, торчать черные фонарные столбы. По краямь площади—амбары изъ бураго киринча, заборы, каменные и деревянные доминки. На углу—небольшой двухъэтажный домъ съ инрокими простынками и маленькими окошками. Онъ вымазань желтою краскою. Крыша красная, желъзная. На площадь—крыльцо безъ верха, съ тремя известняковыми ступеньками. Надъ крыльцомъ вывъска, чернымъ по бълому: 2-й городской ночлежный домъ.

Митя стояль на илощади, и внимательно разсматриваль эту безобразную постройку.

"Вотъ въ этомъ домѣ и Расчкѣ, можетъ быть, придется ночевать съ матерью по пятаку за ночь",—думалъ онъ, какъ-то странно смѣшивая Расчку съ Дунею. И тяжелыя мечтанія томили его.

И кто тамъ спить, за этими грубыми простънками, на грязныхъ и липкихъ нарахъ, въ-повалку, по ночамъ,

когда пахнеть потомъ и грязью? Пьяные оборванцы, воть какъ этоть, что стоить въ дверяхъ у кабака, избитый, отрепанный, и мучительно соображаеть что-то, ияля безмысление глаза съ воспаленными бълками. И съ такими-то быть Расчкъ!

Митя отвель глаза оть пьяницы, и опять глядёлть на грязно-желтую ствну. Ему грезилось: за нею нары. Пусто. Одна Раечка лежить на голыхъ доскахъ, свернувшись калачикомъ, подложивъ подъ голову кулачки, и ея русыя кудри на доскахъ, и она кривить свой маленькій роть капризною и жалующеюся гримаскою. Раечкъ жестко на нарахъ...

XI.

Митя сидъль въ яликъ. Ему захотълось перебраться на ту сторону рфки и назадъ вернуться по плашкоутному мосту. Широкая ръка Сповъ слегка покачивала краснобокій яликь, — дуль легкій вътерь, и воду рябило. Противъ солица по Снову лежала широкая блестящая полоса; на нее больно было смотръть, -- она вся сверкала, колыхалась и радовалась. Съ Митею вхало еще четверо: двъ молодыя мъщанки въ пестрыхъ платочкахъ, толстыя, румяныя, крикливыя и смъшливыя, - угрюмый пожилой мужчина, — и молодой человъкь въ котелкъ, бълобрысый, все зангрывавний съ мъщанками, но презлой, съ косыми глазами и тонкими губами. Дюжій, чернобородий яличникъ въ розовой рубашкъ гребъ молча и лъниво. Сновали пароходы, которые возили пассажировъ оть города до прирфчныхъ дачныхъ мъсть и обратно. Изръдка протащится черный буксирный пароходъ съ неуклюжими барками. Когда лодка опускалась съ гребня широкой и длинной волны, поднятой пароходомь, Митино сердце замирало, и это жуткое ощущение было пріятно.

Митя ждаль. Вь торжественномь сіянін солнца и во всемь величаво-ясномь див чудилось ему какое-то нелживое обътованіе, — и онь ждаль, и душа его была готова кь благоговъйному воспріятію чуда.

Кто-то легонько прикоснулся къ его локтю. Какая радость!.. Но нъть, это не Расчка,—молодая мъщанка, смъясь, лущила съмячки, и бросала шелуху въ воду.

Митя опять смотръль на яркую полосу по ръкъ. Раечка подходила къ ялику. Развъ она живая? —подумаль Митя. Да, —припомииль онъ, —въдь она воскресла. Что изъ того, что ее схоронили, зарыли, забыли! Воть она подходить въ торжественномъ сіяніи, бълая, строгая, —и ничего иъть, кромъ нея. На ней бълое платье, какъ на невъстъ, бълая фата, бълые цвъты съ зелеными листьями. Волосы ея разсыпаются до пояса, ясенъ взоръ ея, вся она туманная и легкая.

- Расчка,—шенчеть Митя, и радостно улибается. Расчка смъстся, и говорить:
- Я уже не Расчка, я—большая. Меня зовуть Рая, потому что я живу въ раю.

Голось ся звеньль, какъ-будто вътерь и вода колыхали серебряныя струны, — но Митя не могь понять, слышаль-ли онь слова, которыя говорила Расчка, или она говорила что-то свое, а сму это слышалось. Она удалялась, кивая головою, улыбаясь, ясная, многоцвътная, въ лучахъ яркаго солнца. Потомъ она загорълась, обратилась въ золотой сверкающий шаръ, видомъ подобный солнцу, но превосходящий его радостною взорамъ красотою. Этоть шаръ все уменьшался,—и воть оть него осталась яркая точка,—воть и оне погасла. Все стало мглистымь и темнымь, и солнце потускивло.

XII.

Митя поднялся тихонько по лъстницъ, разыскалъ свои книжки, и явился на чердакъ, словно изъ школы. Дуня и мать сидъли по вчерашнему, только теперь онъ объ вязали, и спицы жужжали въ ихъ проворныхъ рукахъ.

— Здравствуй, Рая, — сказаль Митя.

Дуня посмотръла на него ясными, какъ у Раи, глазами, и отвътила:

— Я-Дуня.

Митя покрасивль и сказаль заствичиво:

- Я ошибся. Ты, Дуня, похожа на Расчку.

Дуня медленно покачала головою. Она встала, положила чулокъ на стулъ, подошла къ окну, и позвала тихонько:

— Митя!

Митя подошель къ ней. Она положила руку на его илечо, и сказала:

- Воть, одно только небо и видно. Хорошо!

Митя радостно чувствоваль прикосновение тонкой Дуниной руки. Онъ подумаль: Рая прежде была ма-ленькая, но она-же растеть.

— Что хорошаго!—ворчала старуха.—Мало, скажемъ, хорошаго. Галдило-то приходилъ, кричалъ, кричалъ, оглушилъ.

Дуня вернулась къ чулку.

— Старшій дворникъ приходиль,—спокойно объяснила она Митъ.

- Ну?-спросиль Митя съ опасливымь удивленіемъ
- Пришель, гаркнуль, гаркнуль: убирайтесь!— тихо говорила старуха.—Куда уберешься-то, скажите на милость! Куда итти, коли некуда, положительно некуда!

Она заплакала, и вся покрасибла и сморщилась, такъ-же, какъ и Раечкина мать. Дуня спокойно смотръла на нее, прямая и блъдная, и спицы жужжали въ ея быстрыхъ рукахъ. Митя зналъ, что сердце ея томительно болить за мать. Но жалости не было въ Мить,—и онъ одинаково равнодушно чувствовалъ и острую боль въ вискахъ, и Дунино безмолвное горе.

— Ужъ, Господи! Ужъ видять, что бъдность заставляеть,—говорила старуха, плача и дрожащими руками ударяя спицу о спицу.

Митя посидълъ немного, молча, и ношелъ домой.

XIII.

Митя опять рѣпплся прогулять уроки. Еще для прошлаго раза купиль онь у Назарова листь изъ дневника. Осталось только поддѣлать барынину подпись: "не быль въ училищѣ по болѣзии" (Аксинья была неграмотна, и въ Митиномъ дневникѣ подписывалась барыня). Назаровъ взялся отнести этотъ листь, и съ Митинымъ дневникомъ, къ своему пріятелю, искусному въ поддѣлываніи почерковъ, а завтра вернуть его готовымъ и вложеннымъ въ дневникъ.

Митя такъ распредълиль день: утромъ погуляеть, потомъ домой—объдать, а тамъ скажеть, что надо на спъвку, и опять отправится къ Дунъ. Съ утра онъ пошелъ на кладбище.

Въ кладбищенской церкви—покойники, трупный занахъ. Митя стоить близъ алтаря, и молится, склоняя колбиа на каменныя илиты. Дымъ отъ ладона клубится по церкви, синбетъ и подымается вверхъ. У алтаря ходить Рая, полупрозрачная, легкая. Она радостно сіяетъ. Одежда у нея бълая, руки обнаженныя, волосы падають ниже пояса широкими свътлыми прядями. На шеб у нея жемчуга, и легкій кокошникъ низанъ жемчугами. Вся она бълая, какъ никто изъ живыхъ, и прекрасная.

Она смотрить на Митю отрадно-темными и строгими глазами, и къ смерти клонить его. Не сама-ли она смерть? Прекрасная смерть! И зачъмъ тогда жизнь?

Раннъ голось звучить, чистый и ясный. Что сказала она, не слышаль Митя. Онъ вслушивается, внутри себя, въ слъдъ ея словъ,—и надъ мукою головной боли тихо въють кроткія слова:

— Не бойся!

Радостно, что будеть все темно, какъ въ Ранныхъ глазахъ, и усноконтся все,—муки, томленія, страхъ. Надо умереть, какъ Рая, и быть, какъ она.

Сладостно уничтожаться въ молитев и созерцаніи алтаря, кадильнаго дыма и Раи, и забывать себя, и камни, всё страшные призраки изъ обманчивой жизни.

Рая близко.

- Отчего ты бълая?—тихонько спрашиваеть Митя. Тихо отвъчаеть Рая:
- Только ми--бълне. Ви всъ-красние.
- Почему-же?
- У васъ кровь.

Тихо звучить ясный Раинъ голосъ, какъ цень у кадила передъ алтаремъ,—Рая подымается въ синемъ

дыму, вся програчная и голубая, къ церковнымъ сводамъ. Мглою одъвается все, и синъеть въ Митиныхъ глазахъ. За стънами тоска и страхъ, темныя нежити стерегутъ,—и не уйти отъ нихъ.

XIV.

На Дуниномъ чердакъ лампады не было, но пахло елеемъ и кипарисомъ. Молитва и миръ осъияли душу.

Опять на тъхъ-же мъстахъ сидъли Дуня и мать, и Дуня читала, - Жерминаль, въ концъ. Она коротко разсказала Митъ содержаніе. Потомъ дочитала, отъ разсказа о несчастіи въ шахтахъ. Она отчетливо выговаривала, и съ чувствомъ, нъсколько преувеличивая его выраженіе.

Митя закрыль глаза. Ему чудилось, что въ углу, передъ иконою, теплится ясная лампада, и отъ нея бълый свъть надаеть на Дуню... Кто-то слушаеть вмъстъ съ ними... Ихъ много, —колънопреклоненные и свътлые... Митя благоговъйно молчалъ и наклонялъ голову.

Дуня кончила. Она опустила руки на кольни, и сидъла неподвижно. Старуха плакала, всхлипывая и сморкаясь. Митя улыбался, а по щекамъ его текли слезы, чистыя и крупныя.

Дуня говорила:

— Воть какая она несчастная. Зачѣмъ-бы ей жить? Хорошо, что умерла. Хорошо, что есть смерть.

И вдругь Дуня заплакала. Она сидъла прямо и неподвижно, блъдныя руки лежали на колъняхъ, лицо не искажалось и было спокойно и свътло, а слезы ручьями текли изъ потемнъвшихъ глазъ по худощавимъ щекамъ и падали на обнаженныя руки.

- Что-же ти плачень? спросиль Митя, и грустнымь недоумбніемь томплось его сердце.
- Она была прекрасная,—тихо, едва двигая губами, словно въ бреду, говорила Дуня,—и душа у нея, какъ у ангела. Ее запихали въ нору, такъ она тамъ и погибла, ровно крыса въ мышеловкъ. Какіе люди! Пожалѣешь о томъ, что родился на этой землъ!
- Что-же есть хорошаго на землъ?—спросиль Митя. Дуня помолчала, и слезы ея изсякли, потомъ она подиялась съ мъста, и сказала:
 - Помолимся, Митя, вместь.

Въ углу, передъ образомъ, они стали рядомъ на колфии, на пильний и сорний полъ. Дуня читала вслухъ молитви, Митя шенотомъ повторялъ иния слова, не связивая съ ними никакого смысла, и тупо улыбался. Его худое лицо съ длиннымъ носомъ казалось насмъщливимъ. Дуня умиленно плакала, и Митя, сквозь муки своей головной боли, не могъ понять, о чемъ эти слезы, и дивился.

Ему чудилось, что тамъ, на стулъ у окна, позади молящихся дътей, сидъла Рая, и бълыя руки ся двигались несиъщно, и мотали длинныя и тонкія нити. Два прозрачныя облачка трепетали надъ ся плечами. Она спрашивала старуху:

- О чемъ-же ты плачень?
- Подохнень съ голоду, —да хоть-бы я одна, —Дуньку жалко, —отвъчала старая, плача.

Рая свътло улыбалась, и неспъшно мотала длинныя нити.

XV.

Митя сидълъ въ классъ. Быль урокъ исторіи, и учитель Конопатинъ спрашиваль заданное.

Конопатинь быль толстый, короткій, быстрый да бранчивый, съ пробритымь подбородкомь и длинными съдыми баками. У него было какъ-бы два лица: сладко-хитрое для сослуживцевь, и суровое для учениковь. Митя боялся его больше прочихъ учителей, особенно съ тъхъ поръ, какъ онъ сдълался инспекторомъ училища.

Теперь Мить было и стращию, — какъ бы не спросили, — и скучно, что надо сидъть, молчать и слушать неинтересное. Это утомляло, усыпляло, и уже какъ будто-бы совсъмъ не оставалось своей воли. Мечты роились, — и ничъмъ ихъ было не отогнать.

Что-то бойко разсказываеть маленькій, рыженькій Захаровъ. Громко сыплеть слова, нижнюю губу выставляеть впередъ, какъ загородочку, чтобы слова черезъ нее прыгали, а правую руку за поясъ засунуль. Смъшной...

Полупрозрачная, легкая, видится Рая. Томный взорь ея спокоень. Митя улыбнулся ей,—и лицо у него становится неожиданно-радостнымь...

Потомъ смуглый, длинный Водокрасовъ вышелъ говорить, — и плохо знаеть, а хочеть приномнить. Ему подсказывають и стараются, чтобы учитель не замътиль этого.

Митя улыбается Рав, и шепчеть:

— Отчего ты далекая? Приди поближе.

Конопатинъ услышалъ подсказываніе, и увидъль, что Митины губы шевелятся. Онь подумаль, что подсказываеть Митя.

— Дармостукъ, ты подсказывать! — закричаль онъ гиввно, —давай дневникъ.

Митя вадрогнулъ, схватиль свой дневникъ, и понесъ его учителю. Но уже когда дневникъ былъ въ учителе-

выхъ рукахъ, Митя вспомнилъ, что оставилъ тамъ, вмъсть съ поддъланнымъ листомъ, и листь своего дневника за ту-же недълю. Митя испугался и схватился-было опять за дневникъ,—но уже было поздно. По испуганному Митиному движенію и по его виноватому лицу Конопатинъ поняль, что дъло не ладио, и принялся разсматривать дневникъ. Два листа на одну недълю, и одинъ изъ нихъ не вшитый,—и ослабленныя нитки,—и разрывы въ каждомъ листь для удобства при вкладываніи,—все сразу бросилось въ глаза.

— Те-те-те! — протяжно заговориль Конопатинь, — духи малиновые! Это что такое? Ахъ ты, животное! Дневникъ поддълывать!

П потокъ бранныхъ словъ обрушился на Митю.

XVI.

О Митиномъ проступкъ послали матери письмо. Оно пришло на другое утро, еще пока Митя былъ въ школъ.

Митя вернулся, — мать встрътила его бранью и колотупиками. Барыня, заслышавъ отчаянные Аксиньины крики, налетъла коршуномъ въ кухию.

— Да какъ ты смълъ? — кричала она, подступая къ оторопълому Мить и тряся его за плечо.—Пъть, говори, какъ ты смълъ прогуливать! Говори, говори сейчасъ!

Митя не зналъ, что сказать, и дрожалъ отъ страха.

- Неслушъ негодный!—вопила Аксинья,—ты вовсе налець о палець не хочень дёлать, а мать изъ-за тебя изъ жиль тянстся. Ты вёдь видинь, ты очень хорошо видинь!
- Надо-же стараться, въдь ты не маленькій,—говорила и Дарья.—Въдь ты хуже ьсякаго животнаго!

Такъ онъ стояли трое противъ одного, бранили и стыдили его. Лица у нихъ были алыя, и казались Митъ ужасными и отвратительными.

— Выгонять тебя, мерзавца!—голосила мать,—что я съ тобою дълать буду, съ негодяемъ этакимъ? Куда ты

дънешься, образина твоя посастая?

"Умру, какъ Рая",—подумать Митя. Онъ молчать и плакать, пожимаясь плечами, какъ оть холода. Изъ дверей выглядывали, толкаясь, Отя и Лидія, пересмънвались, дълали Мить гримасы, — онъ не замъчаль ихъ. Отя дразвиль его громкимъ шепотомъ:

— Гуляка-фонарщикъ! Гуль-гуль-гуль! Гулька! Гульфикъ! Гуливеръ! Проходимецъ!

Урутина услышала, и самодовольно усмъхнулась: она гордилась Отинымъ остроуміемъ.

— Я сама повду завтра въ училище, —торжественно объявила она, и важно ушла изъ кухни.

Барынины эти слова произвели большое внечативніе. Аксинья, подавленная барынинымъ великодушіемъ и сыновнимъ негодяйствомъ, тяжко вздыхала. Дарья говорила съ негодованіемъ и укоризною:

— Сама барыня! Изъ-за этакаго, съ позволенія сказать, ошмётья!

Митя сидълъ передъ учебниками, и горько плакалъ. "Не сопъ-ли это, —думалъ опъ, —и школа, и барыня, и вся эта грубая жизнь?"

Онъ вспомнить, что надо сдълать, чтобы проснуться, и съ отчаяніемъ ожесточенно принялся щинать себъ ноги. Ръзкое ощущеніе боли не разбудило его. Онъ поняль, что все это, ужасное, надо пережить. Голова такъ сильно больла весь день, — хоть бы на мигь полегче!

Рая утышила. Уже когда свечеръло, но еще не зажи-

гали огня, въ невърномъ и таинственномъ озареніи отъ послъднихъ лучей, она пришла, поступью легкою и воздушною, незримая ни для кого, кромъ одного только Мити. Полупрозрачная, мерцая, она едва застъняла предметы, какъ застъняютъ ихъ легкія слезы, сквозь которыя трепещеть и колеблется міръ. Какъ юная царевна, въ одеждъ бълой и торжественной, низанной жемчугами, и въ жемчужномъ кокошникъ, съ жемчужными подвъсками, которыя качались подъ ея ушами и шелестъли на плечахъ о жемчугъ на ожерельи,—она стояла передъ Митею, и глубокимъ и строгимъ взоромъ утъшала его. Тусклымъ блескомъ свътились жемчуги и, блъдножелтие, розовъли, какъ бълыя тучи въ небесной высотъ при послъднемъ догораніи заката.

"Жемчугь-слезы",-робко думаль Митя.

- Слезы мои сладкія, беззвучно отвътила Рая.
- Дай мив, Рая, поцъловать твою бълую руку, шеннулъ Митя.
- Теперь нельзя, мы разные,— нѣжнымъ голосомъ сказала Рая, качая головою.

Закачались, зашелестьли жемчужныя подвъски, закачались жемчужныя вязи подъ кокопиникомъ, и Рая отошла. Митя увидълъ, что она не такая, какъ онъ. Она—свътлая и сильная, онъ—темний и слабый; онъ словно заключенъ въ трупъ, она—вся живая, и вся переливается огнями и свътами, и красота ся несказанная смиряетъ несмолкаемую боль въ его бъдной головъ.

- Останься со мною, не уходи, Рая! шепталь Митя.
- Не бойся,—нъжно отвъчала Рая,— я буду съ тобою, я приду, когда настанетъ время. И тогда иди за мною.

- Страшно!
- Не бойся,—утынала Рая.—Подумай,—ничего этого не будеть. Какъ легко! И новое небо откроется.
 - А Дуня? А мама?—робко спрашивалъ Митя.

Рая радостно см'вялась и озарялась, и жемчуга ся тускло блествли и шелествли. Глубокій взорь ся говориль Мить, что надо върить и не бояться, и ждать, что будеть, и послушно итти за нею, по этой длинной лъстницъ.

Тъстинца бълая и широкая. Ступени нокрыты багрянымъ ковромъ, на площадкахъ зеркала и нальмы. Рая идеть, все выше, и не оглядывается. Бълые башмаки ея неторопливо касаются красныхъ ступеней. Воть окно, и за нимъ свътлая дорога, огни, звъзды. У Мити крылья, онъ летить, и тонеть въ воздухъ, и погружается въ сладостное забвеніе.

Вдругъ раздался грубый материнъ голосъ.

— Дрыхии, сокровище!—кричить она,—дрыхии больше: нагулялся за день.

Толчки, пробужденіе, иснугъ и тоска. Желтыя стъны, тусклый свъть оть лампы, ситцевая занавъска, сундуки, самоваръ. Митино сердце отяжелъло.

XVII.

Нечально ясный длился день. Митя вернулся изъ училища. Мать молчала, и угрюмо возилась у печки. Дарья, съ таинственнымъ и злымъ видомъ, ушла зачёмъто. Скоро она вернулась. За нею въ кухию вдвинулся угрюмый дворникъ Дементій, рыжій, съ неподвижными глазами и шпрокими сросшимися бровями. Онъ сталъ у входной двери, точно приросъ. Барыня прошла къ нему изъ корридора мимо Митиной каморки, не взглянувъ на Митю. Дементій поклонился.

— Здравствуй, голубчикъ Дементій,—сказала барыня томнымъ голосомъ.—А гдъ Димитрій?—спросила она, обращаясь къ Аксиньъ и Дарьъ, которыя стояли рядомъ, словно ожидая чего-то.—Позовите Димитрія! –приказала барыня.

Митя самъ вышелъ изъ-за перегородки. Всф носмотреми на него враждебно, и отъ этого ему стало страшно.

- Воть, голубчикъ Дементій,— сказала барыня, показывая на Митю,—возьми ты этого негодяя...
- Слушаю, —съ готовностью сказаль Дементій, и двинулся къ Митъ.
- Отведи **ты** его въ дворницкую, продолжала барыня.
 - Слушаю, сударыня, повториль Дементій.
- II накажи его тамъ розгами, да хорошенько. Здъсь, при миъ, я не могу слышать, у меня нервы, ты самъ понимаешь, я—барыня.

Барыня обнаружила признаки волненія и раздраженія.

- Слушаю, сударыня, не извольте безпоконться, почтительно говориль Дементій.
- Я тебѣ дамъ на чай, сказала барыпя, и вздохнула.
- Покорнътине благодарю! радостно воскликнулъ Дементіт, не извольте безпоконться, то есть, въ лучиемъ видъ.

Онъ взяль Митю за локоть. Митя стояль блёдный, дрожаль, и не ясно понималь, что дёлается. Ужась вдругь охватиль его,—словно готовилось что-то невозможное.

- Ну, пойдемъ, молодчикъ,—сказалъ Дементій. Митя бросился къ барынъ.
- Барыня, голубушка, миленькая, ради Христа, не надо,—лепеталь онъ, сгибаясь и подымая къ барынъ полные слезами глаза.
- Иди, иди! отмахиваясь оть него, сказала барыня,—я не могу, у меня нервы. Я барыня, о тебъ забочусь, а ты что? Нельзя, иди!

Аксинья стояла, пригорюнившись, вздыхала часто и шумио, и въ ея глазахъ было такое выраженіе, какъ у человъка, навъки лишеннаго счастья и надежды. Дарья искоса посматривала на Митю, и слегка улыбалась, лукаво и радостно. Митя порывисто сталь на кольни, кланялся барынъ въ ноги, цъловалъ ея башмаки, отъ которыхъ, какъ и отъ всей барыни, пахло нъжно и сладко, и повторялъ отчаянныя, несвязныя слова.

— Возьмите его, я не могу! — воскликнула барыня, не уходя, однако, изъ кухни и не отымая своихъ ногъ.

Она не помнила, чтобы ей такъ поклонялись; хоть это быль только жалкій мальчишка, а все же ей было пріятно.

Аксинья и Дементій съ ожесточеніемъ бросились оттаскивать Митю сть барыни. Митя, рыдая и умоляя барыно, упирался и хватался за подоконники, за двери, но Дементій быстро вытолкнуль его на лъстницу.

Митя почувствоваль, что стыдно плакать и сопротивляться: увидять, услышать чужіе. Онь сказаль Дементію:

- Ты хоть не говори, Дементій, никому.
- Ладно, чего мит говорить, съ усмъшкою отвъчалъ Дементій. — Ти только не барахтайся, — самъ зна-

ешь, надо, — такъ у меня чтобъ безъ скандала, благо-роднымъ манеромъ.

Митя старался удержать слезы и принять равнодушный видь. Дементій придерживаль его за локоть.

- Голубчикъ Дементій, шепталь Митя, иди отдъльно хоть сзади, я самъ приду.
 - Убъжишь?-спросиль Дементій.
- Куда бъжать-то? Въ воду, что-ли? съ досадою сказалъ Митя.

Дементій участянно посмотр'ять на него, и нокачать головою.

— Эхъ ты, малый, — сказаль онъ, — раньше надо было думать.

Онъ немного отсталъ, однако не спускалъ съ Мити глазъ. Когда Митя шелъ по двору, Аксинья и Дарья смотрѣли на него изъ кухни въ окно. Митя поднялъ глаза, и встрѣтилъ ихъ неподвижные, враждебные взоры. Онъ пошелъ поскорѣе. Хорошо, что близко, — смутно думалъ онъ; отъ угловой лѣстищы надо было пройти нѣсколько шаговъ вдоль передняго флигеля, по плитяной дорожкъ, и подъ ворота...

Входъ въ дворницкую былъ изъ-подъ воротъ. Передъ узкою лъстницею винзъ, въ дворницкую, на Митю напаль внезапный ужасъ. Тамъ, за этою дверью,— неужели онъ самъ пойдеть туда?

Онъ метнулся назадъ, но тотчасъ попался Дементію. — Куда?—крикнулъ Дементій.

Его глаза чаровали Митю, — неподвижные, изъ-подърыжихъ, сросшихся, прямыхъ бровей. Дементій захватилъ Митю въ охапку, да такъ и снесъ, по иъсколькимъ ступенькамъ, въ дворницкую.

Тамъ охватилъ Митю кислый запахъ отъ овчины и

оть щей изъ громадной русской печки. Было тёсно и грязно. Большая гармоника красовалась на видномъ мёсть. Молодой, недавно нанятый изъ деревни дворникъ Василій стояль у окна, и снималь кафтанъ. Его красная рубаха, дюжія руки, румяныя щеки, широкія скулы, глупые глаза,—все казалось Мить страшнымъ, какъ у палача. Баба, Дементьева жена, уныло возилась у печки, держа на рукахъ крохотнаго ребенка, смирнаго и желтаго, какъ восковая кукла, съ неподвижными, какъ у отца, синими глазами. Дементій поставиль Митю на поль. Митя дышаль тяжело и боязливо озирался. Подваль, съ низкимъ потолкомъ, кирпичнымъ поломъ, небольшими окнами, громадною печью и грубими запахами, казался Мить норою, гдъ живуть домовые. Баба невесело поглядъла на мужа.

— Барыня изъ пятаго номера мальчонку велъла выдрать,—сказалъ Дементій.

Василій словно обрадовался, и оскалиль былые, крі икіе зубы.

- Что ти? Воть этого? Носастаго?—спросиль онъ.
- Этого, —подтвердилъ Дементій.
- Ай нашкодиль? -- крикнула любопытная баба.

Она сдълалась веселою и зарумянилась. Глаза у нея заблестъли. Вплотную подошла она къ Митъ, и весело спросила, обдавая его жаркимъ дыханіемъ:

- Да за что это тебя, парень, а?
- Митя молчаль. Жалость къ себъ ужалила его.
- Надо быть, не даромъ, —угрюмо отвътиль за него Дементій.
- Что-жъ, разуважимъ париншку,—со смъхомъ говорилъ Василій.

— Посиди пока, паренекъ, на лавочкѣ, — сказалъ Дементій Митѣ, —подожди.

Митя растерянно съль на лавку. Стало невыносимо стыдно. Что-то говорили, двигали какія-то метлы,—прутья шелестьли. Дворничиха присъла рядомь, и посмънвалась, заглядывая Мить въ лицо. Митя низко наклоняль голову, и перебираль дрожащими нальцами пуговки у своей блузы. Онь чувствоваль, что лицо у него красное, и отъ этого жжеть въ глазахъ, красный туманъ застилаеть глаза, и не даеть ничего видъть, и жилы на шеъ мучительно бьются.

Дементій подошель къ Мить...

XVIII.

Дома Аксинья встрътила Митю грубымъ смъхомъ и бранью.

— Имбю честь проздравить,—злобно сказала она, съ новой баней, съ легкимъ наромъ. Ахъ ты, скотина долгоносая! Весь-то ты въ отца твоего въ пьянаго. Мало я съ однимъ маялась, другое мив на шею сокровище навязалося.

Знее лицо было у нея и страшное. Пришла и Дарья, смъяться и дразнить.

— Проздравляю вашу милость. Удостоились, нечего сказать. Дурачокъ, чего ты стоишь? Ай боишься голову на полу потерять,—матери-то чего-жъ не кланяешься, говорю?

У Мити опять забольла голова, въ глазахъ темнъло и кружило.

— Кланяйся, идоль,—неистово закричала Аксинья, наскакивая на сына съ кулаками.

Митя посибшно поклонился матери въ ноги и, принавъ лбомъ къ полу, тихонько завылъ отъ боли.

Потомъ повели Митю къ барынъ, Она сидъла въ гостиной на диванъ, и раскладывала пасьянсъ. Заставили кланяться въ ноги и ей, по она сказала, что не надо, и сдълала ему длинный выговоръ,

Прибъжали барчата, веселые и румяные. Они знали, что сдълали съ Митею. Барышия думала, что Мить ни по чемъ. Но, увидя, что онъ плачетъ, и что вообще онъ жалкій, словно затравленный, она перестала улыбаться и поглядывала на него сострадательно,— ей стало жаль его.

— Такъ ему и надо, — строго сказалъ Отя, — хамчикъ простеганный!

Лидія разсердилась.

- Ты-элой дуракъ!-сказала она брату.

Онъ показалъ ей сразу два кулака, и приняжя шентать, дразня Митю:

— Насъкомый! Березайка! Дрань! Съчка!

Такъ какъ барышня ножальла Митю, то Аксинья заставила его и барышив цъловать ручки. Барышия была довольна и чувствовала себя очень доброю: воть, моль, и какая,—даже сквернаго кухаркина сына пожальла!..

"Проклятыя, проклятыя! — повторяль Митя про себя. — Никогда не буду съ вами, ничего не сдълаю до вашему".

XIX.

Вечеръло. Митя сидъль на своемъ обычномъ мъстъ у окна, глядъль въ раскрытый учебникъ, и не видъль его. Голова страшно болъла и кружилась. Предметы

какъ призраки, то являлись, то снова потухали. Чудилось, что все шатается, все неустойчиво,—и когда красная ситцевая занавъска передъ материною кроватью
колыхалась, то Митя ждаль, что воть сейчасъ все обрушится и погибнеть. Безликія чудища носились надъ
Митею, издъвались, и голоса ихъ гудъли. Митя за ивался горькими слезами.

Вдругь услышаль онь тихій зовь:

— Митя!

Онъ поднялъ глаза, —Рая стояла передъ нимъ, бълая, свътлая и торжественная. Алмазы въ ея вънцъ сверкали дивными огнями, багряница была длинная, смарагды и лалы горъли на бармахъ. Яркій лучъ сіялъ въ Раиной рукъ. Блъдное лицо было торжественноспокойно и свътло. Нъжное Раино дыханіе колыхало воздухъ сладостною отрадою. Близко стояла Рая, едва не касаясь Митиныхъ колънъ. Удивительныя слова нъжно звучали на ея блъдиыхъ губахъ. Она говорила о новыхъ небесахъ, —тамъ, за этими истлъвающими, страшными.

Митя всталь и коснулся губами ея лба, — надъ глазами, повыше бровей.

Рая отошла. Митя сдълаль-было шагь за нею, но наткнулся на сундукъ, и ушибъ ногу.

Какъ здъсь тьсно! Какая бъдная жизнь!..

И поняль Митя, что Раи съ нимъ нъть,—и никогда не будеть...

XX.

На другой день быль праздникъ. Митя пълъ.

Толкались пъвчіе, ходиль угрюмий дьяконь, синій димь оть горящаго ладона плыль. Рая проходила по со-

леф, и глаза ея горфли. Образа глядфли строго. Утрений свъть изъ широкихъ и высокихъ оконъ лился томительно ярко. О каменныя плиты на церковномъ полу стучали каблуки, шаркали подошвы.

Рая вся пламенъла тлъющимь, бъльмъ пламенемъ. Вечернимь свътомъ озаряла она предметы, и нездъшнимъ,—грубые солнечные лучи не смъли спорить съ ея кроткимъ сіяніемъ: За ея пламенъющими ризами исчезали предметы.

Головная боль усиливалась и томила Митю.

Ранны ризы разв'вванись, колеблемыя неземными в'вяніями. Легкія, прозрачныя крылья трепетали за ея плечами. Она была вся ясная, какъ заря на закатъ. Ея волосы, сложенные на головъ, свътлы и пламенны. Нъжно говорила она:

— Теперь уже скоро.

Она распростерла крылья, и тихо приближалась къ Мить. Митя ждаль ее, — и воть, она приникла и вошла въ него. Сердце его горъло...

Церковныя пъсни звали изъ ненужнаго, и тъснаго, и страшнаго міра. Митя пълъ, и, какъ чужой, звучаль ему его голосъ. Звуки уносились къ церковнымъ сводамъ, и тамъ откликались и звали.

Какъ призраки, двигались люди по каменнымъ плитамь. Барыня стояла близь клироса. Она пришла въ церковь поздно,—нарочно пришла въ эту церковь, послъдить, чтобы Митя не прогуливаль послъ объдни. Она стояла важная и гордая тъмъ, что такъ великодушно заботится объ этомъ мальчикъ,—и все время не спускала съ Мити строгихъ и тупыхъ глазъ. Митя подумалъ, что воть и сегодня опять нельзя итти къ Дунъ. Ему стало страшно: можеть быть, въ это время Дуню прогонять съ чердака, или вовсе погубять, и онъ никогда ея не увидить.

"Какая злая барыня!—думаль онь.—Всъ элие!"

Всв предметы хмурились и грозили...

Оть алтаря, какъ горній въстникъ, приближалась Рая, трепеща и сіяя дивными крыльями,—яркіе, горъли ея взоры,—и снова почудилось Мить, что сна приникла и вошла въ него,—и пламеньло его сердце.

Бряцала кадильная цёнь, и дымь подымался, пахучій и синій...

XXI.

На большой перемене Митя грустно стояль въ зале у дверей. На солице набытали тучи, день хмурился. Все утро Митю томила головная боль. Оть многолюдства и толкотни она грозно возрастала.

Краснощекій Каргановъ подошель къ Мить, и хлопнуль его по илечу, какъ большой, хотя самъ не дорось до Мити на полголовы.

— Что, брать, невессть, голову повъсиль? — спросиль онь, улыбаясь, причемь углы у его губь некрасиво оттягивались внизь, и зубы жадно обнаружились, —выстегали, небось? Не бъда, заживеть до свадьбы! Мить тоже на-дияхъ славную баню отець задаль, да мить ин по чемь.

Митя винмательно посмотрёль на Карганова: казалось, что на его красныхъ щекахъ еще слабо синъють полоски, слъды отъ отцовыхъ пощечинъ. Эти красныя щеки, угловатыя, полныя губы и дерзкіе, но безпокойные, словно запутанные, глаза наводили почему-то Митю на мысли о томъ, какъ долженъ быть вопить и рыдать Каргановъ, когда отецъ его билъ. Митъ жаль стало Карганова, и захотълось утъщить.

— Что я тебъ разскажу, — ты не разболтаешь? — тихонько спросиль Митя.

Каргановъ такъ и воткнуль въ него жадные взоры, и принялся увърять:

— Воть, чего мив болгать! Не бойся, разсказывай.

Они съли рядомъ на скамъъ. Митя шепотомъ разсказалъ, какъ его наказывали. Каргановъ слушалъ съ участіемъ.

— Пшь въдь какъ, въ дворницкой, —важно, —сказалъ онъ потомъ, и засмъялся.

Онъ отошелъ, и Митъ вдругъ досадно стало на себя: зачъмъ проговорился? Онъ вспомнилъ, что Каргановъ не можеть не разсказать по всему училищу, и догадывался, что станутъ дразнить.

Такъ и случилось. Каргановъ подходиль то къ одному, то къ другому, и съ радостнымъ хохотомъ сообщалъ:

- Дармостука-то третьяго дня въ дворницкой пороли.
- Что ты? съ веселымъ оживленіемъ спрашивали его.
- Ей-Богу, онъ самъ разсказалъ, подтверждалъ Каргановъ.

Мальчишки радовались, лица у всъхъ оживились, и маленькіе, и большіе говорили тъмъ, кто еще не зналъ:

— Слышаль, Дармостука въ дворницкой пороли! Новость разнеслась быстро между школьниками. Мальчишки бодро оправляли пояса, и кричали:

— Пойдемъ дразнить Дармостука!

Они обжали къ Мить радостиме, оживлениме, съ торжествомъ и гамомъ, и толинлись вокругъ него. Бъленькій Душицынь засматривалъ снизу въ Митины глаза ласковыми сърыми глазками, упираясь руками въ колъни, кротко улибался, и пъжнымъ голосомъ говорилъ грубыя и неприличныя слова, все разныя, словно онъ зналъ
неистощимое множество непристойныхъ реченій, отпосящихся къ розгамъ.

Румяныя лица, оживленныя искреннимъ весельемъ, тъснились къ Митъ, а безнощадные глаза жадно всматривались въ него. Иные изъ школьниковъ илясали отъ радости; иные схватывались по-двое руками, бъгали вокругь толин, окруживией Митю, и кричали:

— Въ дворницкой! Потвха!

Митя порывисто кидался то въ одну сторону, то въ другую, молча, опустивъ глаза и виновато улыбаясь. Но маленькіе негодян илотно сгрудились. Увидъвъ, что изъ этого тъснаго кольца не выбраться, Митя пересталъ метаться, и стояль, блъдный и растерявшійся, съ потушленными глазами; онъ казался преступникомъ, отданнимъ на поруганіе черни. Наконецъ, уже восторгъ дошель до такого напряженія, что кто-то крикнуль:

- Дармостукъ, ура!

И вев мальчинки, звонкими и громкими голосами, закричали:—Ура! ура! ура!—а—а—а!

По всему училищному дому и на улицу понеслись отголоски звонкаго дътскаго веселья. Изъ учительской выскочить на шумъ Конопатинъ. Навстръчу ему побъжали иъсколько школьниковъ, и радостно докладывали на-перебой:

— Дармостука въ дворницкой пороли. Тамъ его дразнять, а онъ стопть, какъ филинъ, глазами хло-пасть.

Жирное учителево лицо засіяло блаженствомъ, широкая улыбка расползлась на его чувственныхъ губахъ. — Духи малиновые!—воскликнуль онь смѣющимся голосомь,—гдѣ-же онь, покажите, покажите мнѣ его.

Икольники повели Конопатина къ толиъ, которая разступилась передъ нимъ. Блаженно улыбаясь, Конопатинъ взялъ Митю за плечо, и повель въ учительскую. Мальчишки толною бъжали сзади. Они уже не смъли кричать такъ громко, и дразнили Митю вполголоса, веселые, румяние.

Учителя обрадовались почти такъ-же, какъ и школьники,—и тоже издъвались...

XXII.

На другой день Митя ушель съ книгами въ обычное время и весь день бродиль по улицамъ, медленно и вяло. Все казалось ему тусклымъ и страшнимъ. Вътягостное самозабвение погружала его все возраставшая головная боль.

Позже обыкновеннаго, незадолго до заката, пришель онъ къ Власовымъ. Только взобравнись наверхъ и перелъзая черезъ высокую балку, замътилъ онъ, какъ ноють отъ усталости ноги, и какъ томительно хочется поскоръе състь.

Власовы радостно суетились, сбирая свои жалкіе пожитки: старуха нашла наконець мьсто. Оть радости руки у объихь дрожали, и улыбки были робкія, словно онь еще не совсьмь смыли върить своему счастію.

Митино сердце похолодьло оть испуга. Онъ что-то говорили Митъ, но онъ никакъ не могъ связать и понять ихъ слова. Ему казалось, что ихъ гонутъ съ чердака. Отчего-же онъ улыбаются, какъ безумныя, если надо итти на улицу, на жесткіе камни?

Дунъ жаль было чердака. Она тихо сказала:

— Все лъто здъсь прожили, все однъ. Хоть и впроголодь, зато однъ. А какъ-то теперь Богь приведеть жить въ людяхъ!

Такая острая жалость пропизала Митино сердце, что онъ заплакалъ. Дуня утынала:

— Полно, милый,—дасть Богь, уындимся. Приходи къ намъ, коли пустять. О чемъ плакать, глупый мальчикъ?

Она записала карандашомъ на бумажкѣ свой адресь, и дала его Митѣ. Митя взяль бумажку, и вертѣль ее въ рукахъ. Такъ сильно болѣла голова, что онъ ничего не могъ сообразить. Дуня сказала съ ласковою усмъщьюю:

— Да ты бы въ карманъ положиль,—неравно потеряещь.

Митя сунуль адресь въ карманъ, и тотчасъ-же за-

Поздно вернулся онъ домой. Мать сидъла среди кухни на табуретъ, суровая и печальная, и плакала, вытирая глаза передникомъ. Мить она показалась уродливою и страшною. Она принядась бранить его и бить, и Митя не понималъ, за что. Онъ упорно молчалъ.

Маленькая лампа тускло свътила. Пахло чадомъ и керосиномъ. Барыня пришла кричать да издъваться. Оть ея крика звенъло въ ушахъ, и точно тяжелые молоты били въ голову. Барчата виглядывали изъ-за двери, Отя гримасничалъ и дразнился. Дарья протяжно выговаривала укоризненныя слова. Тъни шмыгали по стънамъ,—стъны, казалось Митъ, колебались, потолокъ нависалъ и казался близкимъ. Все было какъ въ бреду.

"Какъ-же и зачъмъ-же стоять міру,—думаль Митя, если и Дуня погибаеть!"

XXIII.

Утромъ мать отвела Митю въ училище. Дорогою она и плакала, и ругалась, и порою колотила Митю по затылку. Отъ этого Митя наклонялся и спотыкался. Онъ почти не замъчалъ предметовъ, погруженный въ тупыя ощущенія невыносимой головной боли. Проблески сознанія были мучительны, и тянуло тогда внизъ, головою къ этимъ жесткимъ камиямъ, чтобы разбить жестокую боль.

Въ училищъ Митя тупо принималъ издъвки товаришей и учителей. Онъ быль мраченъ, какъ этоть день, пасмурный и дождливый. Бъду предчувствоваль онъ. Дуня порою печально вспоминалась ему. Уже забыль онъ, что она оставила чердакъ, и боялся, что она тамъ умреть съ холода и голода.

За часъ до конца уроковъ, съ большой перемъны Митя незамътно убъжаль изъ училища, бросивъ тамъ свои книги. Едва-ли сознаваемое имъ желаніе укрыться отъ преслъдованій и понсковъ влекло его на далекія отъ училища улицы. Тамъ онъ долго блуждаль, не уставая, не отдыхая. Онъ заходиль во дворы, въ сады, въ церковь забрель, когда служили вечерию, бъжаль за нарманщикомъ, смотрълъ на марширующихъ солдать, разговаривалъ съ дворниками, съ городовими,— и все тотчасъ-же забиваль.

По-временамъ шелъ дождь, мелкій, словно просѣянный. Съ деревьевъ летѣли мокрые желтые листья.

Уже бредъ распространился на всю природу,—и все стало сказочнымъ и мгновеннымъ,—вдругъ возникали предметы, и вдругъ умирали. Яркій Раинъ взоръ загорался и потухалъ...

Наконець Митя пришель туда, гдъ жили Власовы. У чердака внезапний ужасъ охватиль его: чердакъ быль подъ замкомъ. Митя остановился на послъдней ступенькъ, и съ отчаяніемъ смотръль на замокъ. Потомъ принялся стучать въ дверь кулаками. Въ это время изъ верхней квартиры вышель дворникъ, чернобородий угрюмый мужикъ съ лънивыми движеніями.

- —Чего тебф туть? сгросиль онъ Митю, подозрительно глядя на него.—Чего по чужимъ лъстищамъ шаришь?
- Туть Власовы жили,—робко сказаль Митя,— я къ Власовымъ пришелъ.
- Пикто туть не жиль, отвътиль дворникь, туть нельзя жить, туть чердакь.

Митя сталь спускаться, неловко хватаясь руками за тонкую жельзную рышетку. Дворинкь винмательно осматриваль его, стоя на площадкъ, и ворчаль. Мить било тягостно чувствовать на своемъ лицъ и потомъ на спинъ его пристальный, черный взглядъ.

Митя не могь повърить, что Власовыхъ здёсь нъть. Куда же имъ дъться?—думаль онъ.—Конечно, онъ негибли па чердакъ. Домовие замучили ихъ, этотъ черный новъсиль замокъ, и стережеть ихъ.

Когда Митя онять шель по улицамь, чердакъ представился ему, — отчетливо, какъ-бы въявь, — и какое-го слабое хрипъніе послышалось ему. И онъ представились ему, — на тъхъ-же мъстахъ, гдъ и раньше сидъли. Митя видъль, какъ Дуня умирала, изголодавшаяся, холодная, — мать сидъла противъ нея, закинувъ кверху цъпенъющее, незрячее лицо и протянувши впередъ сжатыя руки, — объ онъ умирали и холодъли...

II воть онъ умерли. Неподвижныя, холодныя, си-

дять онъ одна противъ другой. Вътеръ изъ слухового окна струится у желтаго старухина лба, и колеблеть съдые, топкіе волоски, выбившіеся изъ-подъ платка.

Митя заплакаль,—медленныя и холодныя были слезы. Голодь приступами начиналь томить его.

XXIV.

Митя стояль на берегу надь узкою и мутною рѣчкою, опирался локтями о деревянную изгородь, и глядълъ передъ собою равнодушными глазами. Вдругъ знакомое что-то приковало его вниманіе. Онъ увидѣлъ влали, по ту сторону мать. Она появилась изъ переулка, и шла къ мосту,—сейчасъ будеть переходить сюда, глѣ Митя. Она не дождалась сына, испугалась, побѣжала въ училище. Тамъ сказали, что его иѣть, что онъ убѣжалъ до конца уроковъ. Тогда она принялась объходить своихъ знакомыхъ,—не зашелъ-ли къ кому.

Митя перебъжалъ черезъ дорогу, и укрылся отъ матери въ отворенную калитку, за деревянными воротами. Онъ прилънулъ къ щели въ воротахъ, и тупо ждалъ. Мать прошла мимо. На ней сърый большой илатокъ, старенькая кацавейка. Ея морщинистое лицо, нолусклоненное къ землъ, неподвижно и скорбно...

. Жалость къ матери томила Митю. Но что же опъ могъ дълать, какъ не тапться?

Она шла быстро, угрюмая и скорбная, и неподвижно смотръла передъ собою. Митя высунулся изъ калитки, смотрълъ за матерью, и глупо улыбался. Не оборачивалась она, и уходила въ туманную отъ мелкаго дождя даль. Когда она скрылась въ далекой влажной мглъ, Митя пересталъ думать о ней, и забыль се. Только жгучая боль отъ жалости горъла въ его сердцъ.

И опять нечальныя мечтанія овладбли имь. Тамь, гдв было такь мирно и тихо, гдв теперь и темно и холодно, онв сидять мертвыя одна противь другой. Дуня держить руки на кольняхь, и смотрить бълыми, незрячими глазами, — тонкія вѣки не замкнули глазь, такь она исхудала. Она мертвая. Лампада передь образомь погасла. Тишина, холодь, мракь на чердакѣ...

XXV.

Всю ночь Митя проведь на удицахь. Было безлюдно. Кое-гдф у вороть спаль дворникь, да изрѣдка извозчикь дремаль на козлахь. Сперва горѣли фонари. Потомъ пришелъ фонарщикъ, и потушиль ихъ. Темно и страшно стало. И не найти было ни одного убѣжища — отъ жизни, отъ дождя, отъ холода, отъ великой усталости. Въ сторону отъ сквозныхъ улицъ отходили безнадежные тупики, и трудно было выбираться изънихъ. Митя подходилъ ко всѣмъ воротамъ и дверямъ, и осторожно пытался открыть ихъ. Напрасно, — люди вездѣ все позаперли. Въ городѣ, гдѣ не таплисъ ни тигры, ни эмѣи, люди боялисъ спать, не оградившись отъ людей.

Шель дождь, иногда мелкій моросиль, иногда нольется проливень. Тогда Митя укрывался гдівнибудь подъ навівсомь, у подъбіда. Пірібдка люди спрацивали Митю, дивясь, что онъ блуждаеть въ эту пору, и онъ отвічаль почти безсознательно, но подходящими словами. Ему вібрили, потому что онъ лгаль.

Передъ подъвздомъ, гдв стоялъ Митя, остановились дрожки. Баринъ и барыня вышли, позвонили, швейцаръ ихъ впустилъ. Онъ былъ молодой и любопытный. Зъвая, онъ спросилъ:

- Чего ты стоинь, мальчикь?
- Дождь пережидаю,—отвътилъ Митя, не глядя на него.
 - Да куда идешь-то?
 - За бабкой послали.
- За бабкой послали, такъ бъги, дура-голова, озабоченно сказалъ швейцаръ, такое дъло не ждетъ.
 - Да я ужъ назадъ иду, -- спокойно сказалъ Митя.
- Ну, а бабка? съ удивленіемъ спросиль швейцаръ.
 - На извозчикъ поъхала.
 - А тебя не взяла?
 - Нъть, не взяла.
- Тоже, и бабка дура, ръшиль швенцаръ. Ну, ужъ и бабка!
- Сама съла, разсказываль Митя, а мит говорить: ты, говорить, и такъ добъжишь.
 - Ишь ты, тесно ей, что-ли?
 - Видно, что тьсно.
- Спать, поди, хочешь, мальчикъ?—участливо спросиль швейцаръ, и сладко зъвнулъ.
 - Да воть скоро лягу, сказаль Митя, улыбаясь.

Митя побъжаль по дождю, перепрыгивая черезь лужи. Онъ дрожаль оть холода и отъ усталости...

XXVI.

Къ разсвъту разсъялись тучи. Медленно восходило солнце изъ-за далекаго синяго лъса за Сновомъ. Было тихо. Надъ ръкою колыхался туманъ. Слободы за ръкою, нъжныя и молчаливыя, почивали въ золотисто-лиловыхъ грезахъ.

Усталый, багьдный Митя стоять на набережной, опершись руками объ ея рѣшетку, и радовался тому, что почь минула, что солице встало, что надъ рѣкою свѣжесть и туманъ. И ночь, и все, что было съ нею,—инчего не помишть усталый мальчикъ, радовался и улыбался, и любилъ какихъ-то добрыхъ людей, которые тамъ, за рѣкою, въ золотисто-лиловыхъ грезахъ. Холодно и томно было ему, а въ тѣлѣ разливалась свѣжая бодрость,—отъ этой воды, и солица, и свѣтлаго неба, и всей широты поднебесной...

Гдъ-то далеко задребезжали колеса по камиямъ. Эти звуки разбудили все темное въ сознаній и страничю головную боль. Злыя восноминанія заклубились томительнымь туманомъ на холодныхъ и влажныхъ камияхъ. Митя задрожалъ.

"Надо же найти ворота, —подумаль онъ, —лъстницу, окно, гдъ была Рая. И отчего нъть Раи? И я одинъ на этихъ жесткихъ камияхъ!"

Съ отчаяннымъ и блъднымъ лицомъ побъжаль онъ по улицамъ, — и онъ умирали за инмъ. Крупный потъ струплея по его холодному лицу, и сердце горъло и стучало отъ быстраго бъга, и это мучительно отдавалось въ головъ. Гулкія плиты жестко звучали подъногами.

Наконецъ, изнемогая, онъ остановился и оперся илечомъ о фонарный столбъ. Не сразу призналь онъ мъстность,—а когда узналъ, то обрадовался.

Воть это – тоть самый проходной дворь. Заспанный молодой дворникь, гремя ключами, отвориль калитку, вышель на мостовую, и стояль спиною къ дому, громко зъвая и щурясь на солице. Митя осторожно пробрался на дворь.

И воть, наконець, Раина лѣстница,— и Рая стоить на ней, и ждеть Митю. Охваченный мгновенною радостью, Митя вошель на лѣстницу. Полусвѣть на черной лѣстниць озарялся сверху, отблесками оть Раиныхъ свѣтлыхъ ризь. Рая тихо шла передъ Митею. Бѣлыя ризы цвѣли алыми розами, и косы ея разсыпались, какъ легчайшія пламенныя струйки. Она не оборачивалась, шла впереди, и на лѣстничныхъ поворотахъ Митя видъть ея склоненное лицо. Отъ ея прекраснаго лица изливался въ полусумракъ таинственный и нѣжный свѣть, и глаза ея въ этомъ свѣть сіяли, какъ два вечерѣющія свѣтила. Розы падали съ ея ризъ, и пламенѣли, и Митя благоговѣйно ступалъ между ними. И розы пламенѣли вокругь его головы, и неугасаемое пламя сожигало его мозгъ...

...Блёдный, усталый мальчикъ, боязливо озираясь, словно крадучись, подымался по черной лестнице, мимо запертыхъ дверей. На лице его изображались отчаяние и смертельная истома, взоръ его блуждаль и, казалось, не различаль предметовь, и грудь вздымалась тяжело и неровно. Онъ покачивался, спотыкался иногда, и безпомощно и неловко хватался рукою за скользкія отъ сырости стыны. Но въ помраченномъ сознаніи его выростали изъ его томленія дивныя грезы...

...Страшный шумъ подымался за Митею, и топоть, и хохоть чудились ему, снизу лъстницы, какъ оть многихъ бъгущихъ людей: то — разъяренные учителя и школьники гнались за Митею. Всъ они страшно кричали, кривлялись, высовывали острые языки, и протягивали красныя, уродливыя руки. Митя въ ужасъ бросился бъжать отъ нихъ. Ноги его тяжелъли. Уже когда настигали его, и Митя чувствовалъ за собою злое люд-

ское дыханіе, Рая остановилась, повернулась къ Мить, вся занялась пламенемъ, и сказала:

— Не бойся!

Грозный для міра, голось ея быль словно громъ, рожденный со страшною болью и великимъ восторгомъ, какъ-бы въ самой Митиной головъ. Рая взяла Митю за руку, и черезъ тъсную дверь вывела его на свътлую дорогу, гдъ пламенъли дивныя розы...

...Блѣдный мальчикъ съ усиліемъ вэлѣзъ на подоконникъ въ четвертомъ этажѣ. Окно било открыто. Цѣпляясь руками за верхнюю перекладину въ рамѣ, опъ новернулся лицомъ къ лѣстницѣ, и спиною наружу началь вылѣзать изъ окна. Ноги его скользнули по узкой желѣзной полоскѣ, и сорвались. Мгновенный, послѣдній ужасъ охватилъ его, и онъ сдѣлалъ безполезное усиліе удержаться руками за раму. Начиная падать, уже онъ почувствовалъ облегченіе. Сладкая жуткость подъ сердцемъ, быстро возрастая, погасила сознаніе прежде, чѣмъ онъ коснулся камней. Падая, онъ крикнуль:

— Мама!

Но горло захватило, крикъ прозвучалъ коротко, слабо и ръзко,—и вслъдъ за нимъ на пустомъ и безмолвномъ дворъ тихо, но явственно, раздался трескъ отъ разбитыхъ о камни Митиныхъ костей.

1895-7 rr.

овручъ



Поутру пустынною улицею на городской окраинъ или дама да мальчикъ лъть четырехъ,—дама нарядная, молодая, мальчикъ съ нею веселый да румяный. Дама улыбалась и, счастливая, заботливо смотръла на сына. Мальчикъ катилъ обручъ, большой, новый, ярко-желтый. Еще неловкими движеніями подгонялъ мальчикъ свой обручь, смъялся, радовался, топоталь пухлыми ножонками съ голыми колънками, и взмахивалъ палочкою. Даже и не надо-бы такъ высоко поднимать палочку надъ головою,—да ужъ гдъ туть!

Радость-то какая! Обруча этого раньше не было, а теперь онъ такъ бойко бъжить! И все такъ весело!

И инчего въдь раньше не было,—для мальчика,—все это вновь,—и утреннія улицы, и веселое солице, и далекіе городскіе шумы. Все мальчику пово, чисто и радостно.

Да, все чисто: дъти сами не видять грязной стороны въ предметахъ, пока взрослые не покажуть.

И.

Бъдно-одътый старикъ, съ грубими руками, остановился на перекресткъ, —прижался къ забору, и пропустиль даму съ мальчикомъ. Старикъ смотрълъ на мальчика тусклими глазами, и тупо усмъхался. Неясныя, медленныя мысли ползли въ его лысой головъ.

— Барченокъ, — думаль онъ, — дитё малое. Ишь вѣдь какъ заливается! Дитё, а барское дитё, — поди-жъ ты!

Онъ не понималь чего-то, что-то было ему странно.

Дитя,—дътей за вихоръ треплють? Игра — баловство, поди? Ребята, извъстно, баловники.

А мать—ничего, не унимаеть, не кричить, не грозить. Нарядная да свътлая. Чего ей? живуть, видно, въ теплъ да въ холь.

Воть когда онь, старикъ, былъ мальчишкою,— тото по-собачьи жилось! Не сладко и теперь,—да хоть не бьють, и все-таки сыть. А тогда — голодъ, холодъ, потасовки. Такого баловства и не бывало, чтобы обручемъ, или тамъ другія барскія игрушки. Такъ и вся жизнь пропіла,—въ нищетъ, заботъ, озлобленіи. И вспомнить нечего,—ни одной радости.

Улыбаясь на мальчика беззубымь ртомь, онъ завидоваль. Онъ думаль:

— Воть глупымь забавляется.

А зависть томила.

Онъ пошель на работу,—на фабрику, гдф работаль съ дътства, гдф состарился. И весь день думаль онъ о мальчикъ.

Неподвижныя мысли, — такъ, просто, вспоминался мальчикъ, — бъжитъ, смъется, ногами топочетъ, обручъ гонитъ. А ножки-то пухленькія, а колънки-то голенькія...

Весь день въ шумъ отъ фабричныхъ колесъ мальчикъ съ обручемъ вспоминался ему. А ночью онъ видълъ мальчика во снъ.

На другое утро мечты опять одолъли старика.

Стучать машины, однообразень трудь, думать не надо. Руки делають привычное дело, беззубый роть усмъхается забавной мечть. Оть пыли туманится воздухь вверху, подъ высокимъ потолкомъ, тамъ, где съ быетрымъ свистомъ скользять съ колеса на колесо безконечные ремни. Далекіе углы закутаны шумною мглою. Какъ призраки, снують люди,—и не слышна человъческая речь подъ гулкимъ пеньемъ машинъ.

И мерещится старику,—воть онь маленькій, воть мама у него барыня, и есть у него обручь да налочка, и онь праеть,—палочкою обручь гопить. Нарядь на немь бъленькій, ножки у него пухленькія, колънки голенькія...

День за днемъ, тоть же трудъ, и мечта все та-же.

IV.

Разь, возвращаясь домой подъ вечерь, увидъль старикь на дворъ обручь оть старой бочки,—черный, шершавый ободь. Старикь задрожаль оть радости, и слезы выступили на его тусклыхъ глазахъ. Быстрое, почти безсознательное желаніе мелькнуло въ его душъ.

Старикъ опасливо оглядълся, наклонился, тренетными руками ухватиль обручъ, и понесъ домой, стыдливо улыбаясь.

Никто не зам'ятиль, не спросиль. Да и кому какое дело? Старикашка въ лохмотьяхъ несеть старую, ломаную, никому не нужную вещь,—кому на него смотреть!

А онъ-то несъ крадучись, боялся,—засмъють. Для чего взялъ, зачъмъ понесъ,—п самъ не зналъ. Такъ,

похожъ на тотъ, что быль у мальчика, ну и взялъ. Что-жъ такое, пусть полежить.

Посмотръть, потрогать, —живъе мечты, туските фабричные гудки да шумы, туманите шумная мгла...

Ифсколько дней обручь лежаль у старика подъ кроватью, въ его бъдномь, тъсномъ углу. Иногда старикъ вынималь обручь, смотръль на него,—этоть грязный и сърый обручь тышиль стараго,—и живъе являлась неподвижная мечта о счастливомъ мальчикъ.

V.

Однажды въ ясное, теплое утро, когда втицы гомозились въ чахлыхъ городскихъ деревьяхъ веселъе вчерашняго, всталъ старикъ пораньше, взялъ свой обручъ, и пошелъ за городъ, подальше.

Покашливая, пробирался онь въ лъсу между старими деревьями да цънкими кустами. Непонятно ему было молчаніе сумрачныхъ деревьевъ, покрытыхъ сухою, темною, растрескавшеюся корою. И запахи были странны, и мухи дивили, и паперотникъ росъ, какъ сказочный. Не было пыли и шума, и нъжная, дивиая мгла лежала позади деревьевъ. Старыя ноги скользили по настилу хвой, спотыкались о въковые кории.

Старикъ сломаль сухую вътку, и надъль на нее обручъ.

Лужайка лежала передъ нимъ, свътлая, тихая. Многоцвътныя, безчисленныя росники искрились на зеленихъ былинкахъ недавно скошенной травы.

И вдругь скинуль старикь съ налки обручь, удариль палкою по обручу,—тихо покатился обручь по лужайкъ. Старикъ засмъялся, засіяль, побъжаль за обручемь, какъ тоть мальчикъ. Онъ вскидываль ногами, и палочкою подгоняль обручь, и такъ же высоко падъ головою, какъ тотъ мальчикъ, подымалъ руку съ палочкою.

Чудилось ему, что онъ маль, нѣженъ да весель. Чудилось ему, что за нимъ идетъ мама, смотритъ на него, да улыбается. Какъ ребенку, первоначально, свѣжо стало ему въ сумрачномъ лѣсу на веселой травѣ, на тихихъ мхахъ.

Козлиная, пыльно-сърая борода на ослабленномъ лицъ тряслась, и смъхъ съ кашлемъ дребезжащими звуками вылеталь изъ беззубаго рта.

VI.

И полюбиль старикь по утрамь приходить въ лѣсъ, играть обручемь на этой прогадинкъ.

Иногда подумаеть, что могуть увидьть, осмъять, и оть этой мысли становилось вдругь нестериимо стидно. И стыдъ былъ похожъ на страхъ: такъ же обезсиливаль, подкашивалъ ноги. Пугливо, стидливо озирался старикъ.

Да ивть, -- никого не видно, не слышно...

И, поигравъ довольно, онъ мирио уходилъ въ городъ, легко и радостно улыбаясь.

VII.

Такъ никто его и не увидълъ. И ничего больше не случилось. Мирно поигралъ старикъ нъсколько дней,— и въ одно слишкомъ росистое утро простудился. Слегъ,— и скоро умеръ. Умирая въ фабрачной больницъ, среди чужихъ, равнодушныхъ людей, онъ ясно улибался.

И его утъщали воспоминанія,—и онъ тоже быль ребенкомъ, и смъялся, и бъгалъ по свъжей травъ, подъ сумрачными деревьями, — и за нимъ смотръла милая мама.



ЖАЛО СМЕРТИ Разсказъ о двухъ отрокахъ



Жало смерти—гръхъ. (I Корине., 15, 56).

Два дачные мальчика забрались въ глухой лѣсной уголокъ на берегъ рѣки и ловили рыбу на удочку. Рѣчка обмелѣла, журчала по камнямъ, такъ что во многихъ мѣстахъ ребятишки легко переходили ее въ бродъ. Дно было песочное и ясное.

Одинъ изъ маленькихъ дачниковъ удилъ внимательно, другой—разсъянно, словно между прочимъ. Одинъ, Ваня Зеленевъ, производилъ съ перваго-же взгляда впечатлъніе урода, хотя трудно было сказать, что въ немъ особенно дурно: зеленоватый-ли цвътъ лица? несимметричность-ли его? большія-ли и тонкія оттопыренныя уши? слишкомъ-ли толстыя и черныя брови? или этотъ растущій надъ правою бровью кустикъ черныхъ волосъ, за что Ваню дразнили иногда трехбровымъ? Все бы не бъда,—но что-то искаженное чудилось въ этомъ лицъ,— придавленное, злое. Держался онъ сутуловато, любилъ гримасничать и кривляться,—и такъ это вошло въ его природу, что многіе считали его горбатымъ. Но онъ

быль совствиь прямой, сильный, ловкій и смълый, даже дерзкій иногда. Онь любиль лазать на деревья, разорять птичьи гитада, и при случать охотно поколачиваль маленькихъ. Одежда на немъ была старая и заплатанная.

Другой, Коля Гльбовь, сразу казался красивымь, хотя тоже, если разобрать, ни строгой правильности, ни особой тонкости выраженія не являли его черты. Онь быль быленькій и веселый. Когда онь смізлся, подь его подбородкомь вспухаль бугорокь,—и это было очень мило. Мама именно вь это містечко любила цізловать его. Одіть онь быль чистенько и красиво: матросская курточка, коротенькія панталоны, черные чулки, желтые башмаки. Онь быль сынь морского офицера, плававшаго нынів за границею. Жиль Коля здісь на дачів вмість сь мамою.

Возлъ мальчиковъ стояли двъ жестянки съ водою. Туда мальчики бросали выловленныхъ рыбокъ. Но плохо ловилась рыба...

- Красивое мъстечко, нъжно звенящимъ голоскомъ сказалъ Коля.
- Что красиваго? хринлымъ дътскимъ баскомъ возразилъ Ваня, странно дергаясь илечьми.
- Обрывъ-то какой, высокій, страсть,—сказаль Коля, показывая движеніемъ подбородка черезъ рѣку на высокій противоположный берегь,—а тамъ березки лѣиятся. И какъ онъ только стоять!
- Вода подмоеть,—пробасиль Ваня,—обрывь обвалится.
- Ну!—недовърчиво сказалъ Коля, и посмотрълъ на Васю такъ, словно просиль не дълать этого.
 - Да ужъ върно, —со злою усмъшкою сказалъ Ваня. Коля грустно посмотрълъ на обрывъ: плотные, красные

пласты глины высоко громоздились одинъ на другой, точно гладко сръзанные громадною лопатою. Кое-гдъ еле замътныя трещины отдъляли одинъ пласть отъ другого. Въ иныхъ мъстахъ, ближе къ водъ, видиълись небольшія углубленія, словно промытыя водою. Вода бъжала такая жидкая, прозрачная, и такъ нъжно плескалась о могучій обрывъ.

Она хитрая, — подумаль Коля, — слизываеть по-маленечку. Подумать только, вся эта громадная стъна, со всъми веселыми березками на ней, вдругь сползеть въ ръку!

- Ну, это еще не скоро будеть,—сказаль онъ вслухъ. Помолчали мальчики. И опять, нъжный и ласковый, зазвенълъ Колинъ голосъ:
 - А въ лъсу-то какъ славно! Смолой пахнеть.
 - -- Шкипидаромъ, -- вставилъ Ваня.
- Нъть, хорошо нахнеть, радостно говориль Коля.—Утромь я бълку видъль. По землъ бъжала, а потомь на сосну, такъ ловко вскарабкалась, только хвостикъ мелькаеть.
- А я дохлую ворону подъ кустомъ видълъ, объявилъ Ваня. Вонъ тамъ, сказалъ онъ, показывая въ сторону головою и илечьми, и весь корчась при этомъ. Я замътиль мъсто.
 - Зачъмъ? съ удивленіемъ спросиль Коля.
- Домой приволоку, объясниль Ваня. Положу Марей на кровать.
 - Въдь она испугается, опасливо сказалъ Коля.
- Ворона-то? Ау, брать, мертвая,—сказаль Ваня такимь элораднымь голосомь, точно ему очень нравилось, что ворона мертвая.
 - Не ворона, а Мароа, сказаль Коля, слегка улы-

баясь и немножко щуря веселые глаза, отчего нъжное лицо его стало кисленькимъ, какъ барбарисъ.

— А!—протянуль Ваня.—Я думаль, ты говоришь, ворона Мареы испугается. Она у нась безобразная, какъ смертный гръхъ. Мать красивыхъ не держить,—отца ревнуеть.

- 0, ревнуеть!

Коля протянуль не вполив понятное ему слово, точно вслушивался въ его звукъ.

— Бонтся, что влюбится,—поясииль Ваня, и засмъялся. — Точно онъ на сторонъ не можеть, — элорадно сказаль онъ.

Помолчали опять. И снова Коля сказаль, но уже пеувъреннымъ голосомъ:

— А тамь какой лугь красивый, вонь направо! Цвъточковъ много, все разные, — такъ весь лугь и нестръеть. И нъкоторые пахнуть такъ хорошо.

Ваня глянулъ на него досадливо, и проворчалъ:

- И коровы нагадили.
- Ну, на тебя не угодишь,—сказаль Коля, и опять ульбнулся такъ, что лицо у него стало кисленькое.
- Я телячьихъ нъжностей не люблю, сказалъ Ваня. Я люблю выпить и покурить.
- Выпить?—съ удивленіемъ и ужасомъ спросиль Коля.
- Ну да, вина или водки,—съ искусственнымъ спокойствіемъ сказаль Ваня, искоса посмотрѣлъ на Колю, и сдѣлалъ очень свирѣпую гримасу.
- Нельзя-же намъ пить вино,—сказалъ Коля, и ужасъ послышался въ его голосъ. Это большимъ только можно, да и то нехорошо.
 - Все это выдумки, ръшительно отвътилъ Ваня. -

Навыдумывали разныхъ правилъ, чтобы нами помыкать. Родители воображають, что мы ихъ собственность. Что хотять, то съ нами и дълають.

— Такъ въдь это вредно—инть, можно заболъть, сказалъ Коля.

Ваня посмотрыть на него страннымъ, смущающимъ взоромъ. Въ его слишкомъ свътлыхъ, словно прозрачныхъ глазахъ вспыхивали янтарныя искорки.

— Что?-спросиять онъ, улыбаясь и гримасиичая.

Коля засмотр'ялся въ его глаза, и забылъ, что хот'яль сказать. Ванины глаза его смущали, и прозрачный блескъ ихъ словно затемияль его намять.

Приноминая съ усиліемъ, онъ сказаль наконецъ:

- Мамочка разсердится.
- Мамочка!—презрительно сказалъ Ваня.
- Да въдь какъ-же не слушаться мамочки-то? нерънштельно спросиль Коля.

Ваня опять посмотрыть на Колю. Проэрачно-свътлые Ванины глаза показались Колъ странными, скверными,—и Колъ стало странию. Ваня сказаль, пренебрежительно произнося ласкательныя слова:

- Ну допустимъ, что мамочка тебя любить, —ну, что-жъ, ты все и будешь мамочкиной лялькою? А воть я люблю все по своему дълать. То-ли дъло, брать, свобода, —это не то, что цвъточки нюхать да мамочкъ букетики собпрать. Да и что, —ну воть, тебъ туть нравится, —въдь правится?
- Очень нравится, какъ-же! сказалъ Коля съ тихою радостью въ звукъ голоса.
- Пу что-жъ, а долго-ли туть побыть, оживленно говорилъ Ваня, дергаясь худенькими плечиками, хорошо, не хорошо, понграемъ, въ городъ, пыль глотать.

Коля молчаль, и мысли его обратились къ мамочкъ. Мамочка любить Колю. Она—ласковая и веселая. Но у нея своя жизнь. Она любить быть съ веселыми молодыми людьми, которые приходять часто, смёются, разговаривають бойко и шутливо, ласкають Колю, иногда подшучивають надъ нимъ,—побыть съ ними Колѣ не скучно, онъ-же и самъ веселый, разговорчивый и довърчивый,—по они—чужіе, далекіе, и словно заслоняють мамочку оть Коли.

- Однако, не ловится,—сказаль Ваня.—Да и домой пора. Приходи къ вечеру на опушку.
 - Ладно, сказалъ Коля.

П.

Мальчики понесли ведерки и удочки домой.

Они проходили по деревенской улиць. Дома стояли тьсно, и казались бъдными и неряшливыми. За ними шумъла ръка. Крестьянскіе ребятишки, грязные и лохматые, пгради у домовъ, ругались грубыми и стращными словами, и плакали. Столь красивыя почти у всъхъ дътей руки и ноги были такъ у нихъ грязны, что жалко и противно было на нихъ смотръть.

У одной изъ дачекъ на скамесчкъ сидълъ любопытный господинъ въ синей рубащкъ подъ сюртукомъ и въ высокихъ сапогахъ. Онъ разспращивалъ всъхъ прохожихъ.

— Много наловили?—спросиль онь у Коли.

Коля довърчиво показалъ ему свою жестянку съ рыбками.

- Не много, сказалъ господинъ. А вы гдъ живете?
- А вонъ тамъ, на горъ, дача Ефима Горбачева, сказалъ Коля.

- A, это Уфишка Горбачекъ, сказалъ господинъ. Коля засмъялся.
- Вы съ отцомъ живете?—спрашивалъ любопытный господинъ.
- Нътъ, съ мамочкой, отвътилъ Коля, папа у меня въ плаваньи. Онъ флотскій офицеръ.
 - А ваша мама скучаеть?—спросиль любопытный. Коля посмотръль на него съ удивленіемъ, подумаль.
- Мамочка? сказаль онъ медленно. Нѣть, она играеть. Воть скоро здѣсь будеть любительскій спектакль, такъ она будеть играть роль.

Тъмъ временемъ Ваня прошелъ иъсколько дальше, потомъ вернулся.

— Ну, пойдемъ, что-ли, — сказалъ онъ Колъ, сердито поглядывая на любонытнаго господина.

Мальчики отошли. Ваня сказаль, страннымь движеніемь илечь и локтей показывая назадь, на любопытнаго барина:

— Этоть баринь всёхъ разспраниваеть, — сволочь ужасная. О родителяхъ, обо всемъ, — должно быть, въ газетахъ иншетъ. Я ему здорово навралъ.

Въ прозрачныхъ, острыхъ Ваниныхъ глазахъ опять загорълись янтарныя искорки.

- Ну?-смышливо протянуль Коля.
- Я ему сказаль, что мой отець въ сыскной полицін служить,—разсказаль Ваня,—онъ меня теперь страхь какъ боится.
 - Почему?-спросиль Коля.
- <u>Я ему сказаль, что отець одного мошенника здёсь</u> высматриваеть, ну, онь и боится.
- Да развъ онъ мошенникъ?—смъшливо спросилъ Коля.

— А я ему примъты такія сказаль, на него похожія,—объясниль Ваня,—ну, онь и бонтся.

Мальчики смфялись.

Дошли до Ваниной дачи и стали прощаться.

Ванина мать стояла въ саду, и курила, подбочась. Она была высокая, толстая, краеная, и на лиць ея лежало тупое и важное выраженіе, какое часто бываеть у привычныхъ курильщиковъ. Коля боялся Ваниной матери.

Она строго посмотръда на Колю, и Колъ стало не-

— Такъ приходи, — сказалъ Ваня.

Коля проворно побъжаль домой.

— Пріятели,—сердито сказала Ванина мать,—обоихъ бы васъ...

Не было никакой причины сердиться, но уже она привыкла сердиться и браниться.

Ш.

Послъ объда мальчики опять сошлись, на большой дорогъ, тамъ, гдъ она входить въ лъсъ.

— A знаешь что,—сказалъ Ваня, — надо тебъ показать одно мъстечко.

Довърчивые Колины глаза вдругъ засвътились любопытствомъ.

- Покажи,—съ восторгомъ промолвиль онъ, заранъ чувствуя радость чего-то тапиственнаго и необычайнаго.
- Я знаю такое мѣсто, гдв насъ никто не найдеть, сказалъ Ваня.
 - A мы не заблудимся?—спросиль Коля. Ваня посмотръль на него презрительно.

— Боишься, — не ходи, — пренебрежительно сказаль онь.

Коля покрасивлъ.

- Я не боюсь,—сказаль онь обидчиво,—а только, если мы долго проходимь, такъ животы подведеть.
- Не подведеть, это недалече, увъренно сказалъ Ваня.

Мальчики побъжали въ лъсную чащу.

Мъсто быстро становилось темнымъ и дикимъ. Стало тихо.—и стращио...

Воть и берегь широкаго и глубокаго оврага. Слышалось, какъ звучаль внизу ручей, но ручья сверху изъ-за чащи было не видать, и казалось, что туда никакъ нельзя пробраться. Но мальчики полъзли внизь къ ручью. Спускались, цъпляясь за вътки, порой скатываясь по крутому откосу. Вътки задъвали, били по лицу. Густые, цъпкіе кусты приходилось съ усиліемъ разбирать руками. Много было вътокъ сухихъ и колючихъ, и, опускаясь, трудно было оберечься, чтобы не расцаранать лицо или руки. Непріятная иногда липла паутина, густая и удивительно клейкая.

- Того и гляди разорвенься, сказаль Коля опасливо.
- Ничего, крикнуль Ваня, не бъда.

Онъ быль далеко впереди, а Коля еле сползаль.

Чёмъ ниже спускались, тёмъ становилось сырбе. Колб было досадно и жалко, что его желтые башмачки въ мокрой глинъ, и руки испачканы глиною.

Наконець спустились въ узкую, темную котловину. Ручей плескался о камни, и звенъль тихою, воркующею музыкою. Было сыро, но мило. Казалось, что и люди, и небо,—все высоко, высоко, в сюда никто не придеть, не увидить...

Коля съ огорченнымъ лицомъ оглядывалъ, изогнувшись назадъ, свои штанишки. Оказалось, что они разорвани. Колъ стало досадно.

"Что скажеть мама."-озабочение думаль онъ.

- Не велика бъда, сказаль Ваня.
- Да панталоны новые,—жалобно сказаль Коля. Ваня засмъялся.
- А у меня такъ вся одежа въ заплатахъ,—сказалъ онъ.—Миъ здъсь хорошаго не дають посить. Лъсъ—не гостиная,—сюда нечего, братъ, новенькое падъвать.

Коля вздохнуль и подумаль: хоть руки помыть.

По сколько онъ ин илескать на нихъ холодной воды, онъ оставались красноватыми отъ глины.

— Липкая здъсь она, глина-то эта,—беззаботно сказалъ Ваня.

Онъ сиялъ саноги, сълъ на камень, и болталъ въ водъ ногами.

- Разорваль одежду, испачкался, руки, ноги исцарапаль,—говориль Ваня,—все, брать, это не бъда. За то ты не по указкъ, а что хочешь, то и дълаешь.
 - И, помодчавъ, онъ вдругъ сказалъ, улыбаясь:
 - Сюда бы на крыльяхъ слетать, ловко было-бы.
 - . Жаль, что мы не скворцы, —весело сказать Коля.
- Еще мы полетаемъ, странно увъреннымъ голосомъ сказалъ Ваня.
 - Ну да, какъ-же!—недовърчиво возразилъ Коля.
- Я нынче каждую ночь летаю, —разсказываль Ваня, —почти каждую ночь. Какъ лягу, такъ и полечу. А днемъ еще не могу. Страшно, что-ли? Не пойму.

Онъ задумался.

- У насъ крыльевъ нъть, —сказать Коля.
- Что крылья! Не въ крыльяхъ туть дъло, -задум-

чиво отвётимъ Ваня, пристально глядя въ струящуюся у его ногъ воду.

- А въ чемъ-же?-спросить Коля.

Ваня посмотръдъ на Колю долгимъ, злымъ и прозрачнымъ взоромъ, спазалъ тихо:

- Еще ты этого не поймень.

Захохоталь звонко, по-русалочьи, и принялся гримасиичать и кривляться.

- Что ты такъ гримаеничаени?—робко спросилъ Козва.
- A что? Пешто худо?—безнечно возразилъ Ваня, продолжая гримаеничать.
- Даже странию, —съ висленькою улыбкою сказаль Коля.

Ваня пересталь гримасимчать, съль смирно, и задумчиво носмотрълъ на лъсъ, на воду, на небо.

— Инчего цъть страшнаго,—сказаль онъ тихо.— Прежде въ чертей вършли, въ лъшихъ. А теперь, ау, брать, инчего такого нъть. Инчего иъть страшнаго,— тихо повториль онъ, и еще сказаль еле елышнымъ шо-потомъ:—кромъ человъка. Человъхъ человъку волкъ.— прошенталь онъ часто слышанное имъ отъ отца изреченіе.

IV.

Ваня, посмънваясь, вытащилъ изъ кармана начатую пачку напиросъ.

- Давай, нокуримъ, -сказалъ онъ.
- Ай, нъть, какъ можно, съ умасомъ сказалъ Коля.

Ваня вздохнулъ и сказалъ:

— Ужь слишкомь всв мы, двти, привыжи слушать-

ся, — отъ отцовъ переняли. Взрослые страхъ какіе послушные, — что имъ начальникъ велить, то и дълають. Воть бабье, — тъ самовольнъе.

И помолчавъ, онъ сказалъ насмѣпиливымъ и убъждающимъ гососомъ:

- Эхъ ты, оть табаку отказываешься! Цвѣлики, травку, листики любишь?—спросиль Ваня.
 - Люблю, неръшительно сказаль Коля.
 - Табакъ-то, —въдь онъ тоже трава.

Ваня посмотръдъ на Колю прозрачными, русалочьими глазами и, посмънваясь, опять протянуль ему напиросу.

— Возьми, — сказалъ онъ.

Очарованный прозрачнымь блескомъ Ваниныхъ свътлыхъ глазъ, Коля неръщительно потянулся за папиросою.

— То-то,—поощрительно сказаль Ваня.—Ты только попробуй, потомъ самъ увидинь, какъ хороню.

Онь раскуриль и свою, и Колину папироску: спички нашлись въ одномъ изъ его глубокихъ кармановъ, среди всякой мелочи и дряни. Мальчики принялись курить,—Ваня, какъ привычный курильщикъ, Коля—съ озабоченнымъ лицомъ. И онъ сейчасъ-же, отъ первой затяжки, поперхнулся. Огненная туча разсыпалась въ горлъ и груди, и въ дыму огненныя искры закружились въ глазахъ. Онъ выронилъ папироску.

- Ну, что же ты?--спросиль Ваня.
- Горько, шопотомъ, растерянно сказалъ Коля, не могу.
- Эхъ ты, нъженка,—презрительно сказалъ Ваня.— Ты хоть одну папиросочку выкури. Кури понемножку, не затягивайся глубоко,—потомъ привыкнешь.

Коля мимовольно, какъ неживой, всунулъ напироску въ ротъ. Онъ сидълъ на землъ, прислонясь къ дереву

епиною, блёдный, со слезами на глазахъ, курилъ и покачивался. Едва докурилъ. Голова разболёлась, тошно стало. Онъ легъ на землю,—и деревья медленно и плавно поплыли надъ нимъ въ круговомъ, томительномъ движеніи...

Ваня говориль что-то. Его слова едва доходили до затемнениаго Колина сознанія.

- Когда бываень одинъ, сказалъ Ваня, можно сдълать такъ, что станеть ужасно пріятно.
 - Какъ-же?-спросиль Коля вялымъ голосомъ.
- Начнень мечтать... Ну, да ты этого не поймешь... Послъ разскажу... Воть, сюда ты ко мнъ и ходи. Право, давай эдъсь собираться,—просилъ Ваня.

Коля хотъль отказаться, но не могь.

- Ладно, - сказаль онъ вяло.

V.

Дома Коля озабоченно показаль мамъ свои разорванные штанишки. Мама засмъялась, глядя на его опечаленное лицо: она была сегодня хорошо настроена, — ей дали ту именно роль на любительскомъ спектаклъ, которую она мечтала сыграть.

— А ты впередъ осторожнъе,—сказала она Колъ.— Воть тебъ и обновка.

Коля улыбнулся виноватою улыбкою,—и мама сразу догадалась, что на его совъсти есть еще что-то. Мама взяла его за подбородокъ, подняла его голову.

— Да что ты блъдный?—спросила она.

Коля вспыхнуль, и опустиль голову, съ усиліемъ освободясь оть маминой руки.

— Это еще что такое? — строго сказала мама, и нагнулась къ нему. Оть Коли пахло табакомъ.

— Коля!—сердито крикнула мама.—Что-же это, отъ тебя табачкомъ нахнеть! Рано, голубчикъ!

Коля заплакалъ.

— Я только одну напироску, — виноватымъ, тоненькимъ голосомъ признался онъ.

Мам'в было см'вшно и досадно.

- Зачівмь ты водишься съ этимъ сквернымъ Ванюшкой? Противный, лягушка зеленая,—досадливо говорила мама.
- Я не буду больше курить, плача говорилъ Коля,—а ему отецъ позволяеть.
 - То-то и хорошо, —съ негодованіемъ сказала мама.
- Онъ хорошій, право, а что-жъ, коли ему позволяють,—убъждаль Коля.
- Ахъ ты, курильщикъ!—сказала мама.—Чтобъ никогда этого больше не было, слышинь?

VI.

Въ эту почь ворона присиплась Колъ. Противная и странная. Коля просиулся. Была еще ночь,—полусвътлая съверная ночь.

Потомъ Коля видѣлъ во снѣ Ваню съ его ясными глазами. Ваня посмотрѣлъ пристально, сказалъ что-то невнятное, — и у Коли сильно забилось сердце, и онъ проспулся.

Потомъ Колѣ снилось, что онъ поднялся съ постели и летить подъ потолкомъ. Сердце замирало. Было жутко и радостно. Тъло неслось безъ усилій. Страшно было, что толкнешься въ стѣну надъ дверью. Но это обходилось благополучно, — Коля опускался, гдѣ надо, и въ

другой горинцъ онять всиливаль подь темиий, сумеречный потолокъ. Много было покоевъ, и одинъ за другимъ являлись они все болъе высокіе, и полеть въ нихъ все болъе жуткій и быстрый. Наконецъ изъ высокаго, темнаго окна, которое безшумно распахнулось передъ нимъ, вылетълъ онъ на свободу, поднялся высоко подъ небо и, закружившись томно и сладко въ его глубокой вышинъ, пронизанной солицемъ, оборвался, упалъ, и проснулся.

VII.

На другой день Коля какъ-то мимовольно очутился въ томъ же оврагъ. Не хотълъ итти. Но пошелъ, словно по привычкъ.

И тамъ, далекіе оть людей, говорили они...

- Ты разсказывалъ вчера,— неръшительно началъ Коля.
 - Ну?—сердито спросиль Ваня, и весь передернулся.
 - Воть, что ты мечтаень, -- робко сказать Коля.
 - А, воть что!-протянуль Ваня.

Онъ сълъ смирно на камень, охватилъ колфии руками, и уставился неподвижнымъ взоромъ куда-то въ даль. И Коля опять спросилъ его:

— О чемъ-же ты мечтаень?

Ваня помолчаль, вздохнуль, повернулся къ Колъ, оглядъль его со странною улыбкою, и сказаль:

- Ну, о разномъ. Самое лучшее, о чемъ-нибудь стыдномъ. Какъ тебя ни обидятъ,—сказалъ Ваня,—какъ ты ни золъ, а только заведешь шарманку, все зло забудешь.
 - Шарманку?-переспросить Коля.

- Я это называю завести шарманку,— объясниль Ваня.—Только жаль, что она не очень долго шраеть.
- Не долго?—съ жалостливымъ любопытствомъ переспросилъ опять Коля.
 - Устаень скоро, сказаль Ваня.

Онъ какъ-то вдругь опустился, и усталыми, сонными глазами смотрълъ нередъ собою.

— Ну, а все-таки, о чемъ-же ты мечтаешь?—настанваль Коля.

Ваня усмёхнулся криво, передернуль плечами...

И такъ, далекіе оть людей, говорили они, о странныхъ мечтаніяхъ, о жестокомъ, о знойномъ...

И лица ихъ пламенъли...

Ваня помолчаль и заговориль о другомъ.

- Я одинъ разъ цълыхъ три дня ничего не ълъ,— сказалъ онъ.—Меня отецъ ни за что отдулъ, а я страхъ какъ озлился. Подождите, думаю, я васъ напугаю. Пу, и не ълъ.
- Да что ты?—широко раскрывъ довърчивые глаза, спросилъ Коля.—Ну, и какъ же ты?
- Кишки отъ голоду выворачивало,— разсказывалъ Ваня.—Перепугались дома. Онять пороть принялись.
 - Ну и что же?-спросиль Коля.

Ваня нахмурился и сжаль кулаки.

— Не выдержаль, — хмуро сказаль онь, — наблея. Ужь очень ослабъль съ голоду. Такъ напустился на ъду... Говорять, можно три недъли прожить, если не ъсть, только пить. А воть безъ воды живо подохнешь. Знаешь что, — давай завтра не ъсть, — быстро сказаль Ваня.

И онъ пристально смотрълъ на Колю прозрачными, ясными глазами.

- Давай,—вяло сказаль Коля, словно чужных голосомь.
 - Смотри, не надуй.
 - Ну воть еще.

Тепло пахло мхомъ и папоротникомъ, и смолистою хвоею. Колина голова слегка кружилась, и томительное безволіе овладѣвало имъ. Мама вдругъ припомнилась, но какая-то словно далекая,— и равнодушно подумалъ о ней Коля, безъ того прилива нѣжныхъ чувствъ, который всегда возбуждался въ немъ думами о мамѣ.

— Мать разозлится, ажь побагровьеть, —сказаль Ваня спокойно, —но только если очень расходится, то я въльсь убъту.

И вдругь, совству другимъ, оживленнымъ и веселимъ голосомъ, онъ сказалъ:

— Перепдемъ-ка здъсь въ бродъ. Вода холодненькая.

VIII.

Ванинъ отецъ, Иванъ Петровичъ Зеленевъ, юристъ по образованію и свинья по природѣ, служилъ въ министерствѣ, каждый день ѣздилъ на службу на утрениемъ поѣздѣ, и возвращался къ вечеру, часто подъ хмѣлькомъ. Это билъ рыжій, плотный, веселый и ничтожный человѣкъ. И мысли, и слова его били въ высшей степени пошлы,—какъ будто у него не било никакого облика, и какъ будто опъ не имѣлъ ничего настоящаго и вѣрнаго въ себѣ. Разговаривая, онъ подмигивалъ зачѣмъ-то собесѣднику зачастую въ самыхъ невыразительныхъ мѣстахъ. Фальшивымъ голосомъ напѣвалъ онъ модныя пѣсенки изъ оперъ. Носилъ перстень съ фальшивымъ камнемъ, и галстукъ, зашинленный булавкою со стразомъ. На словахъ билъ свободолюбивъ, любилъ

повторять громкія слова и осуждать правителей. На службъ-же быль усердень, искателень и даже подловать.

Объдали поздно. За объдомъ Зеленевъ пилъ пиво. Даль и Ванъ. Ваня пилъ, какъ взрослый. Отецъ спросиль:

- Ты, Ванька, для чего связался съ этимъ дохлымъ чистоплюйчикомъ?
- Что-жъ такое! грубо отв'ятилъ Ваня, ужъ и знакомиться нельзя. Новости какія!

Ванина грубость нисколько не смутила ни отца, ин мать. Они ея даже не замътили. Привыкли. Да и сами были грубы.

- Жалобъ не оберешься,— объясниль отецъ.—Чего ему папиросы даешь? Его мать жалуется. Да и мнф, брать, накладно: на всъхъ здъшнихъ мальчишекъ папиросъ не накупишься.
- II онъ совсъмъ не дохлый, —сказать Ваня, —такъ только, что манеженный. А выходить онъ много мъста можеть, ничего. II главное, что мнъ въ немъ нравится, что онъ послушный.
- Ты-то у меня боець, съ гордостью сказаль отець. Такъ и надо, брать, всегда старайся верхъ забрать. Люди, брать, большіе скоты, говориль со страннымъ самодовольствомъ Зеленевъ. Съ ними цечего церемониться. Тамъ всъ эти миндальности если разводить, загрызуть живымъ манеромъ.
 - Само собой, —сказала мать.
- Кто сильнье, тоть и правъ, продолжаль отецъ наставительно. Борьба за существование. Это, скажу тебъ, братъ, велики законъ.

Зеленевъ закурилъ, и для чего-то подмигнулъ Ванъ.

Такъ, по привычкъ. Онъ не думаль въ это время ничего такого, что вызывало-бы надобность въ такомъ подмитиваньи. Ваня попросилъ:

— Дай пашироску.

Отецъ даль. Ваня закуриль, съ тъмъ-же спокойно важнымъ выражениемъ, съ какимъ онъ незадолго пилъ инво. Мать сердито заворчала:

- Ну, оба задымили.
- Попдемь, брать; въ садикъ, -сказаль отецъ.

IX.

Ночью Коля не скоро заснуль. Странныя волненія томили его. Онь вспомниль, что разсказаль ему Ваня о своихъ мечтахъ,—и Ванины мечты соблазнили его помечтать о томъ-же. Какъ это можеть быть?..

Утромъ Коля попросиль у мамочки позволенія ничего не фсть сегодня. Сначала мамочка обезпоконлась.

- Что у тебя болить?-спросила она.

Но потомъ, когда узнала, что ничего не болить, что Коля только хочеть поголодать, мамочка разсердилась и не позволила.

— Ванькины затби,—сказала она.—Ужъ отъ этого сорванца добра не ждать.

Коля признался, что они съ Ванею условились сегодня цёлый день не ъсть ничего.

— Какъ-же вдругь я навмся, а онъ голодный, —смущенно говориль Коля.

Но мама ръшительно сказала:

— И думать не смъй.

Коля быль очень смущень. Попытался все-таки не всть, но мамочка такъ строго приказала, что поневолъ

пришлось послушаться. Коля блъ, какъ виноватый. Ма-мочка и хмурилась, и улыбалась.

А Ваня точно голодаль весь день. Мать сказала ему спокойно:

— Не хочешь жрать, и не жри. Поголодаень,—не сдохнешь. А и сдохъ-бы, не убытокъ.

Къ вечеру мальчики сошлись въ оврагъ. Колю поразилъ голодний блескъ въ Ваниныхъ глазахъ и его осунувшееся лицо. Съ нъжною жалостью смотръль онъ на Ваню,—и съ почтительнымъ уваженіемъ. И съ этого часа какъ рабомъ сталъ онъ Ванъ.

- Жрагъ?-спросить его Ваня.

Коля сдълаль виноватое и кисленькое лицо.

- Накормили, -- робко сказаль онъ.
- Эхъ ты!-презрительно промолвилъ Ваня.

Χ.

Если-бы Колина мама не была такъ занята репетиціями къ назначенному на дняхъ представленію, то она, конечно, давно-бы замътила и обезнокоплась-бы тьмъ, что Коля странно измънился. Веселый и ласковый прежде мальчикъ сталъ совсъмъ другимъ.

Невъдомыя раньше Колъ тоскливыя настроенія все чаще обнимали сто,—и Ваня ихъ поддерживаль. Точно онъ зналь какія-то гибельныя и неотразимыя чары. Онъ заманиваль Колю въ люсь, и чароваль подъ сумрачными лъсными сънями. Порочние глаза его наводили забвеніе на Колю,—забвеніе столь глубокое, что иногла Коля смотръль вокругь себя неузнающими и непонимающими ничего глазами. То, что прежде было радостно и живо, казалось новымь, чужимъ и враждебнымь. И даже сама мама уходила иногда въ неясный

сумракъ далекихъ воспоминацій: Коля, когда захочеть иной разъ сказать что-нибудь о мамочкѣ, какъ раньше,—вдругъ чувствоваль, что нѣтъ у него ни словъ, ни даже мыслей о мамочкѣ.

И природа въ Колиныхъ глазахъ странно и нечальпо тускивла. Очертанія ся словно смывались. И уже нелюбопытна она становилась для Коли,—и не нужна.

Соблазняясь Ваниными соблазнами, Коля иногда куриль. Не больше, какъ по одной папироскъ заразъ. И Ваня каждый разъ давалъ ему заъдать табачный запахъ мятными лепешками. Теперь табакъ уже не кружилъ Колину голову, какъ вначалъ. Но дъйствіе его стало еще пагубнъе: каждый разъ послъ куренія Коля ощущаль необычайную пустоту въ душть и равнодушіе. Словно кто-то тихими, воровскими руками вынималъ изъ него душу и замънялъ ее холодною и свободною стихійною русалочьею душою,—дыханіемъ бездушнымъ и навъки спокойнымъ. Отъ этого онъ казался себъ смътъе и свободнъе. И какъ-то не хотълось ни о комъ и ни о чемъ думать.

И оть куренья, и оть ночныхъ мечтаній у Коли появились подъ глазами синіе круги. И мама зам'ьтила, обезпокоплась, стала было наблюдать за Колею,—но какъто скоро отвлеклась къ другимъ своимъ веселимъ и праздничнымъ заботамъ.

XI.

Было жарко даже и въ оврагъ. И тихо. Коля пришелъ въ лъсъ раньше Вани.

Сосны и ели распространяли смолистый запахъ,—и онъ слабо и не надолго порадовалъ Колю. Не надолго Какъ-бы привычнымъ движеніемъ душа отвътила ра-

достью на привыть природы, вычно родной и только обманчиво равнодушной,—обрадовалась вдругь,—и вдругь забыла свою радость, и словно забыла даже, что есть на свыть радость...

Чуть илескался ручей, съ недоумъвающимъ, вопрошающимъ ропотомъ. Въ лъсу раздавались порою тихіе шорохи. Робко таясь, и тая неуклонныя стремленія, жила своею невъдомою и родною намъ жизнью природа...

Коля ждаль. Тоскливая скука томила его. Такъ много было вокругъ веякихъ милыхъ прежде предметовъ,— деревьевъ, травъ,—и звуковъ, и движеній,—но все это казалось словно пустымъ. И далекимъ.

Послышался шорохь, далекій,—но уже Коля сразу призналь, что это приближается Ваня. И Колъ стало весело. Точно онъ быль потерявъ и одинъ въ чужомъ и стращномъ мъстъ, гдъ обитаетъ тоска, и его нашли и спасли отъ ея темныхъ обаяній.

Зашевелились вътки, упруго и упрямо уступая чьему-то насилію, чтобы потомь опять сейчась-же забыть о немъ и быть по-своему,—и изъ зеленой чащи выглянуло гримасничая Ванино лицо.

- Ждешь?-крикнуль онь.-А у меня-то что!

Плечомъ раздвинулъ онъ вътки, и вышелъ къ ручью, радостный, потный, босой. Въ рукъ у него была бутылка. Коля смотрълъ на него съ удивленіемъ.

— Мадера,—сказалъ Ваня, показывая бутылку.— Сперъ!

Онь быль радостно взволновань, и лицо его болже обыкновеннаго подергивалось гримасами. Онь говориль прерывистымь июнотомь:

- Отецъ у меня любить куликнуть. Авось не замъ-

тить, что бутылка пропала. А если, гръхомъ, хватится, то подумаеть, что самь выпиль. Или на прислугу.

Мальчики присыли у ручья на корточки, и съ нъмымъ восторгомъ смотръли на бутылку.

Коля спросиль:

- А какъ откроешь?
- Ну воть, важно отвътиль Ваня. А штопоръ на что?

Ваня запустиль руку въ карманъ, пошарилъ тамъ, и вытащилъ ножъ со штопоромъ.

- Видинь,—сказаль онь, показывая ножь Коль, у меня такой ножь,—туть два лезвія, а на спинкь штопоръ.
 - На спинкъ, -смъщливо повториль Коля.

Медленно, съ трудомъ, и радуясь этому труду, откупорили вино. Ваня отдалъ Колъ бутылку, и сказалъ:

- Heft.

Коля покрасивль, хихикнуль, сделаль гримаску, поднесь бутылку къ губамь, и отхлебнуль чуть-чуть. Сладко и горько. И легкая струйка лихорадочно-веселаго возбужденія пробъжала по Коль. Со стидливымь сменкомь передаль онь бутылку Вань. Ваня торопливо поднесь бутылку къ губамь, и сразу отниль много. Глаза у него заблествли.

— Что ты поманеньку,—сказаль онь, нередавая Колъ вино,—ты сразу побольше хвати, увидишь, какъ хорошо.

Коля уже смёлье выпиль, сколько могь больше сразу. Но ужь слишкомъ много, такъ что закашлялся. Стало вдругь страшно и жутко. Лёсь плавно и медленно поплыль передъ его глазами. Потомъ сразу стало весело.

Передавая вино одинъ другому, они пили по оче-

реди, то большими, то маленькими глотками. И оба скоро опьянъли. Ваня усиленно гримасничаль. Мальчики громко хохотали. Коля закричаль съ дикимъ хохотомъ:

- Лъсъ плящеть!
- Пляшеть, пляшеть!-вториль ему Ваня.
- Смотри, какая смъшная итица!-кричаль Коля.

И все, что они видъли, возбуждало ихъ веселость, и казалось имъ смъщнымъ. Они возились, илясали. Дикія шалости внушала имъ ихъ буйная веселость. Они ломали деревца, царапали другь друга, и всъ ихъ движенія были неожиданны и нелъпы, и въ глазахъ у нихъ все было туманно, несвязно и смъщно.

Бутылку они куда-то бросили. Потомъ вспомнили о ней, стали искать, да такъ и не нашли. Ваня говорилъ:

- Тамъ еще было вино. Жаль, что потеряли.
- Будеть, и то опьянвли, сказаль Коля хохоча.

Ваня присмирѣлъ. Буйная веселость упала. И его измѣнившееся настроеніе тотчась-же передалось Колѣ. Ваня сказалъ разслабленно-пьянымъ, жалующимся голосомъ:

— Завтра выпили-бы. Башка трещитъ.

Коля легь подъ деревомъ на траву. Лицо у него поблъднъло. Казалось ему, что что-то внутри его поднимаеть его, вертить, несеть... куда?

— Давай купаться,—сказаль Ваня.—Вода освъжить, хмъль соскочить.

Мальчики раздълись, вошли въ воду, и чуть не утонули въ ручьъ. Вода все толкала ихъ подъ колъни. Они хохотали, падали на четвереньки, и глотали воду. Вода попадала и въ носъ, и въ горло. Было страшно и смъщно Наконецъ кое-какъ они выбрались, и съ неистовымъ хохотомъ повалились на траву.

Принялись одбваться. Ваня спросиль:

- Хочешь, я два кораблика спущу?
- Ну спусти, сказаль Коля. А гдт кораблики?
- Да ужъ найду, ухмыляясь отвътиль Ваня.

Онъ вдругъ схватилъ Колины желтые башмаки и бросиль ихъ въ ручей.

— Смотри-ка, два кораблика, — закричаль онь съ громкимъ хохотомъ.

Башмаки, прыгая черезь камешки, стремительно уносились. Коля взвизгнуль и побъжаль за ними, но видно стало сразу, что не догнать,—да и кусты мъшали, и ноги не служили. Коля съль на землю, и заплакаль.

- Зачъмъ ты ихъ бросилъ? упрекаль онъ Ваню.
- Ну воть, самь-же сказаль: пускай, со злою усмъшкою оправдывался Ваня.
- Какъ-же я теперь пойду домой?—горестно спрашивалъ Коля.
- A воть такъ-же, какъ и я,—отвътилъ посмънваясь Ваня.

Его прозрачно-свътние глаза щурились и смъялись. Онъ едълаль Колъ гримасу, и побъжаль вверхъ по склону, быстро, карабкаясь, словно кошка. Коля поспъщаль кое-какъ за нимъ, плача и царапая ноги.

"Домой-бы поскорто добраться", — горестно и стыдливо думаль онъ.

Но, едва выбрались они на дорогу, опять стало ему весело, и все приключеніе съ виномъ, купаньомъ, башмаками казалось ему забавнымъ. Вечеръло, а Коли все сще не было. Уже Колина мама начала безпоконться. Послала служанку къ сосъдямъ. Служанка вернулась и сказала:

- II Ванюшки еще у Зеленевыхъ нъть.
- Вмѣстѣ шляются. Воть я сму задамъ,—сердито сказала Колина мама.

А сама была испугана. Мало-ли что могло случиться! Воображеніе рисовало ей страшныя картины Колиной гибели.

Она стояла у калитки, и озабоченно смотрѣла на дорогу. Сзади послышался быстрый и тихій топоть чыхъто ногь. Мама обернулась. Это быль Коля: онь прибъжаль задворками. Мама ахнула.

— Коля, въ какомъ ты видѣ! Рукавъ у курточки оборванъ. Башмаки гдѣ?

Коля весело засмъялся, махнулъ рукою, и сказалъ:

— Башмаки уплыли... далеко.

И невърный, хриплый звукъ его голоса ужаснулъ маму. Коля еле ворочалъ языкомъ, былъ блёдный, по очень веселый, и принялся быстро, по сбивчиво и неясно разсказывать свои приключенія. И ему было такъ странно, что мама не смъется его веселому разсказу.

— Отъ тебя випомъ пахнеть!—горестно воскликнула мама.

Ея пьяный мальчикъ казался ей столь страшнымъ, что ей какъ-то не върилось. А Коля радостно разсказываль:

— Мы, мамочка, мадеру пили, въ оврагъ, страсть вкусно. И кораблики спускали,—цълыхъ два кораблика. Какъ весело-то было,—прелесть, что такое!

Мама была въ ужасъ, а Коля болталъ неудержимо. Наконецъ мама кое-какъ уложила Колю спать. Онъ скоро заснулъ. Мама пошла къ Зеленевымъ.

XIII.

Когда Александра Дмитріевна пришла къ Зеленевимъ, глава дома сказалъ своей женъ:

— Разбирайтесь сами, какъ знаете.

И ушелъ на мезонинъ.

— Вашъ Ваня дома?—спросила Александра Дмитріевна, задыхаясь отъ волненія.—Онъ напонлъ моего сына.

Зеленева покрасиъла, подбоченилась, злобно засмъялась и сказала:

— Какъ-же, дома. Дрыхнетъ. Съ вашимъ сынкомъ, видно, они здорово выпили, —винищемъ такъ и разитъ. А что напоилъ, такъ это еще кто кого. Худъ-худъ, а только такихъ дълъ за нимъ пока еще не было до пріятнаго знакомства съ вашимъ сынкомъ.

Объ женщины принялись осыпать одна другую упреками и бранными словами. Глъбова говорила:

- Вашъ сынъ самый отчалнный сорванецъ изъ всъхъ дачныхъ мальчиковъ. Нельзя такъ распускать мальчика.
- Чего вы лаетесь! грубо отвътила Зеленева.— Вашъ соколикъ тоже, видно, хорошъ, что и говорить. Сапоги сегодня пропиль,— чего ужъ туть. Хорошъ мальчикъ.
- Какъ пропилъ! съ негодованіемъ вскрикнула Глъбова.—Вашъ Ваня ихъ въ ручей бросилъ.

Зеленева злорадно засмъялась.

— Эка бъда! — сказала она, — напились! Не каждый

день случается, слава Богу. Вашъ Коля, авось, не разможнеть. Проспится,—очухается.

at his harman

Александра Дмитріевна заплакала. Зеленева посмотръда на нее съ презрительнымъ сожалвніемъ.

— Да вы не сердитесь,— сказала она примирительно.—Мы его этому не учимъ. Съ ребятами чего не бываеть,— подъ колпакъ ихъ не посадишь,— и набъдокурять иногда. Нашему Ванькъ, само собой, дерка будеть. А вашего болванчика вы облобызайте хорошенько,—онъ вамъ завтра ручьи слезные напустить отъ раскаянія. И больше намъ нечего разговаривать.

Повернулась, и ушла.

XIV.

На другой день, когда Ваня проспался, отець высъкъ его. Было это рано утромь, но сосъди слушали съ удовольствіемь, какъ Ваня ревъль низкимь, злымь голосомъ.

— Я его утоплю, —сказаль Ваня послъ наказанія.

Но уже его не слушали. Отець торонился на повздъ. Мать провожала...

Отець убхаль. Ваня долго лежаль въ чуланф, неподвижно и молча. Потомъ всталъ и пошелъ изъ дому. Мать закричала на него:

- Ванька, не смъй уходить сегодня. Сиди дома.
- Нашли дурака,—грубо отвътиль Ваня.— Стану я сидъть.

Онъ открыль калитку, и побъжаль по улицъ. Мать погналась было за нимъ, но сразу видно было, что не догнать.

— Мареа, — закричала она служанкъ, которая, весело

ухмыляясь, выглядывала изъ кухни,—забъги проулкомъ, подержи его.

— Подрадь, гдѣ его догонишь,— отвѣтила Мареа, и захохотала.

Безсильная хозяйкина ярость потешала ее.

— Вернись ты у меня, мерзкій мальчишка,—кричала Зеленева въ догонку сыну.

XV.

Ваня сидълъ на берегу лъсного ручья, мрачно смотръль на воду, и думалъ злыя и жестокія мысли. Онъ шепталъ порою:

- Камень на шею, въ мѣшокъ да въ воду.

Вся его злоба и ненависть сосредоточились на Колъ. Желаніе Колиной смерти томило и радовало его.

Утопить! А какъ его засунень въ воду?

Да и зачъмъ? Лучше-бы такъ сдълать, чтобы онъ самъ утонулъ. Онъ послушается. Его можно заставить, заговорить, заворожить.

Злая улыбка жестокою гримасою исказила Ванино лицо. Онь побъжаль въ лъсъ, и закричаль громко:

— Ay, ay!

Никто не отозвался.

"Это пусть будеть ночью,— подумаль Ваня.— Онь утонеть, а я скажу, что спаль въ это время".

И радостно стало Ванъ.

"Изъ дому тишкомъ уйду", -- думаль онъ.

XVI.

Коля, выспавшись, со стыдомъ и ужасомъ вспомнилъ вчерашнее. Долго плакаль онъ въ мамочкиныхъ объя-

тіяхъ, расканваясь и давая объщанія никогда больше не дълать ничего такого. И мамочка успоконлась. Она очень была занята своими репетиціями.

А Колю опять тянуло въ лъсъ. Онъ улучилъ время, убъжаль, и пробранся къ оврагу.

Ваня встрътиль Колю злымъ, мстительнымъ взглядомъ.

"Въ мѣшокъ бы тебя да въ воду",— опять подумалъ онъ.

Но онъ скрыль свою злобу, и принялся разсказывать поль, какъ его наказали. Коля слушаль его съ нъжною и робкою жалостью. Замътивъ это, Ваня засмъялся и сказаль:

— Мит ин по чемъ. Со мною что хотять пусть дълають, — вотъ-то ничуть не боюсь. Да въдь и за дъло выдрали. Воровать не велять. Берегуть людишки свое добро. А хочешь воровать, —не попадайся.

Мальчики сидъли на корточкахъ на берегу ръки, и задумчиво смотръли въ воду. Илескалась рыба, словно тъсно было ей тамъ, въ прохладной и прозрачной водъ. Вились надъ водою мошки. Все было какъ всегда равнодушно, красиво въ общемъ, однообразно въ подробностяхъ, и не весело.

Ваня притихъ. Печально шенталъ онъ:

— Знаешь, что я тебъ скажу, — я не хочу жить.

Коля съ удивленіемъ посмотрѣлъ на него широкораскрытыми глазами.

- А какъ-же?--спросиль онъ.
- Такъ-же, спокойно и словно насмѣшливо отвѣтилъ Ваня.— Умру, да и вся недолга. Утоплюсь.
 - Да въдь страшно?-испуганно спросиль Коля.
 - Ну воть, страшно. Ничего не страшно. А что и

жить!—говориль Ваня, устремляя на Колю неотразимопрозрачный взорь своихь чарующихь глазь. — Подло здѣсь жить, на этой проклятой земль. Человѣкъ человѣку волкъ здѣсь, на этой постылой земль. И что страшно? Захлебиуться не долго,—и живо очутишься на томь свѣть. А тамъ все по-другому.

- По-другому?-робко и довърчиво спросилъ Коля.
- Совствы по-другому. Подумай только, убъжденно говориль Ваня, — воть, если ты любишь путешествовать...
 - Люблю, сказалъ Коля.
- Такъ вотъ, —продолжать Ваня, —куда ни придешь ты на землѣ, —все рѣки, деревья, трава; —все, все, брать, одно и то-же. А тамъ, за гробомъ, совсѣмъ не похожее. Что тамъ, я не знаю, и никто не знаеть, —но развѣ тебѣ здѣсь нравится?

Коля молча покачалъ отрицательно головою.

- Да, здѣсь гадко жить,—продолжаль Ваня.—Что тебѣ страшно умереть? Смерти боишься? Эго у насъ, на землѣ только смерть, мы всѣ умираемъ,—тамъ нѣть смерти. Здѣсь не пожуешь долго, такъ и умрешь,—оть кусковь какихъ-то глупыхъ, и отъ тѣхъ зависишь, а тамъ свобода. Вотъ у тебя теперь тѣло. Отъ него муки сколько. Обрѣжешь,—больпо. А тамъ ничего этого не будеть. Тѣло сгніеть,—на что оно? Будешь свободный,—и никто тебя не возьметь.
 - А мама какъ-же? спросиль Коля.
- Какая мама? убъждающимъ голосомъ отвъчалъ Ваня. Она тебъ приснилась, можетъ быть. У тебя мамы нътъ. Все это только кажется, а на самомъ дълъ ниче-го нътъ, обманъ одинъ. Подумай самъ, если-бы все это было на самомъ дълъ, такъ развъ люди умирали-бы?

Развъ можно было-бы умереть? Все здъсь уходить, исчезаеть, какъ привидъніе.

Коля отвель глаза оть Ваниныхъ холодныхъ и прозрачныхъ глазъ, и съ недоумъніемь посмотръль на свое тъло.

- Какъ же?—сказаль опъ, —все-таки тъло.
- Ну что твло! возразиль Ваня. Надъ нимъ смѣются, чуть гдъ если волосъ не тамъ выросъ, или бородавка, или глаза косять, все смѣются. И бьють, больно бьють. Ты думаешь, часто бьють, такъ привыкь? Нельзя привыкнуть. Что больно, это вздоръ. А къ обидамъ не привыкнешь. А тамъ тебя никто не обидить. Никто тебъ не велить, не забранить, не упрекнеть. Что хочешь дълай. Все можно. Это здѣсь на землъ все такъ, лишній шагъ сдѣлаешь, бутылку съ мѣста на мѣсто перенесешь, ужъ ты и воръ, позорять тебя.

Ваня говориль, а Коля смотръль на него довърчивыми, покоримми глазами. И обиды, о которыхъ говориль Ваня, больно мучили его, — больнъе, чъмъ если бы это были его собственныя обиды. И не все-ли равио, чыи обиды!

Какая-то черная птица пролетьла надъ дътьми, и ея широкія крылья двигались быстро, безшумно. Ваня говориль печальнымь и тихимь, по неотразимо-убъждающимь голосомь:

— Какую-нибудь жидкость проглотишь, — ужъ ты точно другой сталь. Тамь ничего этого нъть. Ни ты ничему, ни тебъ ничто не повредить. Хорошо тамъ. Здъсь на людей смотришь, —одному завидуещь, другого жалъещь, —все сердце въ занозахъ. Тамъ ничего этого нъть.

И долго говориль такъ Ваня,—и Коля все болъе очаровывался печальнымь звукомъ Ванина голоса и скорбною прелестью его наговоровъ.

Ваня замолчаль, — чары его голоса, какъ легкій дымь нэть потухніаго кадила, казалось, расточились въ смолистыхъ лѣсныхъ ароматахъ. Онъ смотрѣлъ куда-то далеко, усталый и безмольный, и Колѣ захотѣлосъ вдругъ возразить ему такъ, чтобы это было послѣднее и сильное слово. Вѣчно-радостное и усноконтельное чувство осѣнило его. Онъ подняль на Ваню повеселѣлые глаза, и сказалъ нѣжно-звенящимъ голосомъ:

— А Богъ?

Ваня повернулся къ нему, усмъхнулся, —и Колъ опять стало страшно. Прозрачные Ванины глаза зажились недътскою злобою. Онъ сказаль тихо и угрюмо:

— A Бога нътъ. А и есть, —нуженъ ты ему очень. Упадешь нечаянно въ воду, —Богъ и не подумаеть спасти.

Коля, бледный, слушаль его въ ужасе.

XVII.

Деревенскіе ребятишки вздумали подразнить Ваню. Они кричали другь другу:

- Ребята, вонъ трехбровый идеть, его драли сегодня.
 - Сняли штанцы, дали дранцы.

На Ваню посыпались грубыя и обидныя слова. Ваня остановился. Онъ смотрълъ молча на ребятишекъ ясными, словно эмфиными глазами, неподвижными, круглыми. Дъти примолкли, и боязливо таращили на него глушье, непонимающе глаза. Отку да-то изъ-за угла стремительно выбъжала баба. Она схватила ребять, какъ-то

всѣхъ сразу, въ оханку, и, сердито бормоча что-то, потащила прочь.

- Еще сглазить, проклятый, ворчала она.
- То ты, тетка? спросила сосъдка.
- Глазь у него нехорошій, шопотомъ объяснила баба.

Ваня слышать. Онъ усмъхнулся невесело, и пошель дальше.

Быль уже вечерь, и отець спаль послъ объда, когда Ваня вернулся домой. Онь принесь матери корзивку съ земляникою.

- Я тебъ задамъ дерку, свиръно говорила мать, върно, утренней мало.
- Ягодки не съвлъ, все тебъ сберегь, жалкимъ голосомъ тянулъ Ваня.
- Гдъ корзину взялъ?—спросила мать сердито, но уже менъе свиръпо.
- Нешто бить будешь?—плаксиво спросиль Ваня.— Я-то старался.
 - А какъ смъть уйти!-крикнула мать.
- A коли меня въ лъсъ тянуло, —жалобно говорилъ Ваня.
- Ужо воть отцу скажу,—довольно уже спокойно сказала мать.—Садись, тыв, коли хочешь.
- A отецъ спить?—съ понимающею усмѣшкою спросилъ Ваня.

Онъ усълся за столь и принялся теть съ жад-

- "Проголодался", —съ жалостью подумала мать.
- Пообъдаль! завалился до чаю, сказала она.— Пьяненькій вернулся. Не плоше, какъ и ты вчера. Въ папеньку сыночекъ.

Она курила подбочась, и глядъла на сына съ нъжностью, смъшною и какъ бы пеумъстною на ея грубомъ и красномъ лицъ. Ей стало жалко, что его сегодня прибили изъ-та того "дохлаго".

"И такъ — зеленый, —думала она. — Да онъ у насъ— молодоцъ, —утвинла она себя, —на воздухв живо поправится".

- Подпоили?—спросиль Ваня, и подмигнуль матери на сосъднюю комнату, откуда слышалось тяжелое диханіе спящаго.
- Не иначе, какъ Стрекаловъ затянуль, отвъчала мать.—Ужъ это такіе подлые людишки.

Она говорила съ сыномъ совсъмъ запросто, на равныхъ правахъ, не стъсияясь.

XVIII.

Теперь каждый разь, какъ мальчики сходились, у пихъ начинался разговорь о смерти. Ваня хвалиль и смерть, и загробную жизнь. Коля слушаль и вършть. И все забвеннъе становилась для него природа, и все желаннъе и милъо смерть, утъщительная, спокойная, смиряющая всякую земную печаль и тревогу. Она освобождаеть, и объщанія ея навъки непэмънны. Нъть на землъ подруги болье върной и нъжной, чъмъ смерть. И если страшно людямь имя смерти, то не знають опи, что она-то и есть истинная и въчная, навъки непэмънная жизнь. Иной образь бытія объщаеть она,—и не обманеть. Ужъ она-то не обманеть.

И мечтать о ней сладостно. И кто сказаль, что мечтанія о ней жестоки? Сладостно мечтать о ней, подругь върной, далекой, но всегда близкой.

И обо всемь начать забывать Коля. Оть всёхъ привязанностей отрёшалось его сердце. И мама, преждо милая мама,—что она? И есть-ли она? И не все-ли на этой землё равно невёрно и призрачно? Ничего нёть здёсь истиннаго, только мгновенныя тёни населяють этоть изменчивый и быстро исчезающий въ безбрежномъ забвении міръ.

Очарованіе Ваниныхъ взоровъ, одно глубоко виъдрившееся въ Колину душу, каждый день влекло его въ лъсъ, въ оврагъ, гдъ журчить ручей о томъ-же, о чемъ говорять ему Ванины прозрачно-свътлые глаза, наводяще забвеніе.

И глубже, и глубже забвеніе, и сладостиве оно.

И когда Ваня долго смотръль на Колю глазами ясними и неподвижными,—подъ этимъ безпощаднымъ взглядомъ такъ обо всемъ забывалъ Коля, какъ забывають обо всемъ въ объятіяхъ самаго утѣшительнаго изъ ангеловъ,—въ объятіяхъ ангела смерти.

А Колинъ ангелъ смерти гримасничалъ и таилъ злыя мысли. Порочны и жестоки были его мечты и прежде,—но теперь онъ пріобръли особую остроту. Онъ мечталъ о смерти,—о Колиной смерти, а потомъ и о свосй. П въ безумныхъ мечтаніяхъ, воображая жесточайшія предсмертныя мученія, проводиль онъ томительныя ночи.

Соблазняя, соблазниль онь и себя самого смертнымь соблазномь, — своимь ядомь отравлениий отравитель.

Вначалъ онъ хотълъ отравить Колю, и уйти. Потомъ уже онъ не думалъ о томъ, что уйдеть. Плънили его мечты о смерти.

II Колины мечты и сны стали столь-же безумны.

Какъ будто бы одни и тъ-же, переходили они отъ одного къ другому.

XIX.

Однажды днемь встрътились они у лъсной опушки. Лицо у Вани было блъдное, съ отеками.

- Что ты бавдный?—спросиль Коля.
- Я нынче много мечталь, разсказаль Ваня.

Помолчали мальчики. Ваня оглядёлся кругомъ,—не видать ли кого,—и сказалъ:

- Я знаю глубокое мъсто. Какъ упадещь, такъ сразу и утонешь.
 - А гдъ оно?—спросиль Коля.

Ваня засмъялся, и показать Колъ языкъ.

— Нъть, — сказаль онъ, — я тебъ не покажу раньше, а то ты одинь упдешь. А я хочу вмъстъ съ тобою.

Ваня обнять Колю, и сказаль злымъ и тихимъ голо-сомъ:

— Вмъстъ съ тобою, миленькій.

Близко, близко оть себя увидъть Коля ясные, безмысленные глаза,—и какъ всегда оть этихъ глазъ темное забвеніе окутало его. Все забылось, ни о чемъ не хотълось думать,—бездна въ глазахъ...

Мальчики условились, — упти сегодня ночью, и умереть.

- Сегодня мама играеть, —сказаль Коля.
- Воть и хорошо, —отвътиль Ваня.

И слова о мамъ не пробудили въ Колъ никакого чувства.

Ваня усмъхнулся, и сказалъ Колъ:

— Только ты, какъ пойдешь, такъ кресть дома оставь,—не надо его.

Ваня ушель. Коля остался одинь. Онь не думаль о Ваниныхь словахь. Не то, чтобы забыль. Тоска оть этихь словь осталась, и въ глубинъ души затаились ядовитыя слова.

Они жили и возрастали сами, а Коля жилъ, какъ всегда, обичными впечатлъніями: мама, поиграть, качели, къ ръчкъ соъгать, на улицъ мальчики,—все прежнее.

Но только все прежнее было страхъ какъ незанимательно. Скучно. Только надо, чтобы мама не видъла, что скучно.

И кисленькая улыбочка, прежняя, привычная, всегда были у Коли навстръчу мамъ

XX.

Настала ночь. И она была печальная, тихая, темная, длинная, какъ послъдняя ночь.

Мама сегодня пграла въ театръ. Ея любимая роль досталась ей, и это было первое представление. Мама была такъ рада. Она ушла сразу послъ объда, и не вернется: послъ представления—танцы до четырехъ часовъ. Коля будетъ уже спать, когда мама вернется.

Служанка напопла Колю чаемъ, уложила его, замкнула двери, и ушла гулять. Коля остался одинъ. Не въ первый разъ. Онъ не боядся.

Но когда звукъ замкнутой двери, легкій металлическій звукъ, достигь его уха, чувство холоднаго отчуждонія охватило его.

Онъ полежаль въ постели, на спинъ, глядя въ темный потолокъ темными глазами.

"А мама?" — отрывочно подумаль онъ.

"А мамы нъть",—не то сказаль кто-то, не то при-

Коля усмѣхнулся, тихо слѣзъ съ кровати, и началь одѣваться. Онъ взяль было башмаки, но припомниль, что земля теперь влажная, прохладная,—она обласкаеть ноги мягкими прикосновеніями.

Мать сыра земля!

Коля бросиль башмаки подъ кровать, и подошель къ окну. Полная луна, свътло-зеленая и некрасивая, стояла на небъ. Казалось, что она прячется за вершинами деревьевъ и подсматриваеть. Ея свъть быль тихій, неживой, и сквозь вътки проникаль ворожащими и робкими лучами...

Ваня задворками прошель въ садъ Колиной дачи. Въ окнахъ вездѣ было темно. Ваня тихонько стукнулъ въ Колино окно. Оно открылось. Коля выглянулъ,—и онъ былъ блѣдный, и улыбался кисленькою улыбкою. Лунный свѣть падалъ прямо на Ванино лицо.

- Ты-зеленый, -сказать Коля.
- Ужъ какой есть, отвъчать Ваня.

Лицо его было спокойно и безвыразительно, словно неживое. Только жили глаза, и блестъли жидкимъ, прозрачнымъ блескомъ.

— Пойдемъ, что-ли, — сказалъ онъ, — пора.

Коля, неловко цёпляясь бёлыми маленькими руками за подоконникъ, вылёзъ изъ окна. Ваня помогъ ему,—поддержалъ.

- Обулся-бы, холодно, сказаль Ваня.
- А ты-то какъ-же?--возразиль Коля.
- Я-то ничего. Я не боюсь,—сказать Ваня, и усмъхнулся невесело.
 - Ну и я тоже, —тихо сказаль Коля.

Мальчики вышли изъ сада, и пошли полемъ, узкою межою, къ темнъвшему невдали лъсу. Ваня шепталъ:

— Видишь, луна какая ясная. Тамь тоже люди были, да всё умерли. Еще когда земля солнцемь была. На луне тепло было, и воздухь, и вода, дни и ночи сменялись, трава росла, а по траве-то, по росе, бегали веселые, босые мальчики. Ау, брать, всё умерли, застыли,—кто ихъ пожалеть!

Коля повернуль къ Ванъ лицо съ кисленькою, — грустною, —улыбкою, и шепнулъ:

- Воть и мы умремъ.
- Только ты не кисни,—хмуро сказаль Ваня.—Еще заплачень. Тебъ холодно?
- - Ничего, тихо отвътилъ Коля. Скоро придемъ? спросилъ онъ.
 - Сепчасъ.

Мальчики сошли къ ръкъ. Здѣсь она тѣснилась между берегами: тамъ—стѣна обрыва, этотъ берегь опускался къ водѣ крутымъ склономъ. Нѣсколько большихъ камней лежали на берегу и въ водѣ у берега. Было тихо. Луна, ясная и холодная, висѣла надъ обрывомъ, смотрѣла пристально, и ждала. Вода казалась неподвижною и темною. Деревья и кусты застыли въ молчаніи. Въ травѣ виднѣлись мелкіе, некрасивые цвѣты, зловѣщіе и бѣлые.

Ваня пошариль около одного изъ береговыхъ камней, и досталь два сачка съ обломанными ручками. Онъ привязаль къ ихъ краямъ по бечевочкъ,—вышло, какъ двъ сумочки,—и положилъ въ нихъ по камню.

— Двъ торбочки, -тихо сказалъ онъ.

На широкомъ и низкомъ прибрежномъ камив, похожемъ на могильную плиту, стояли рядомъ два мальчика,

и оба съ равнымъ страхомъ глядѣли на темную воду. Завороженные, стояли они, и уже не было имъ дороги назадъ. И у каждаго на груди, надавливая бечевкою шею, висѣло по сумочкъ съ камнемъ.

- Иди, сказаль Ваня, сначала ты, потомь я.
- Лучше вмъстъ, —робко-звенящимъ голосомъ отвътилъ Коля.
- Вмѣстѣ, такъ вмѣстѣ,—рѣшительно сказалъ Ваня, и усмѣхнулся.

Ванино лицо разомъ осунулось и потемнѣло. Холодное предсмертное безволіе отяготѣло надъ нимъ...

Коля хотыль перекреститься. Ваня схватиль его руку.

— Что ты, нельзя,—сердито сказаль онь.—Ты все еще върниь? Ну, воть, если Онь тебя спасти хочеть, пусть эти камни въ торбочкъ сдълаются хлъбомъ.

Коля поднять глаза къ небу. Мертвая луна тупо глядъла на него. Въ безсильной душъ не было молитвы. Камень остался камнемъ...

Коля замътиль надъ собою тонкую вътку съ маленькими листочками. Она выдълялась на синемъ небъ чернымъ, очень изящнымъ рисункомъ.

"Красиво", —подумать Коля.

Кто-то шопотомъ позваль сзади, — словно маминъ голосъ:

— Коля!

но уже некогда было. Уже тъло его наклонялось къ водъ, все быстръе падало.

Коля уналь. Раздался тяжелый плескъ. Брызги, холодные и тяжелые, осыпали Ванино лицо.

Коля утонулъ разомъ. Холодная тоска охватила Ваню. Неодолимо потянуло его впередъ, за Колею. Лицо его исказилось жалкими гримасами. Странныя судороги про-

въплъну.

оъжали вдругъ по его тълу. Онъ весь изогнулся, словно вырываясь отъ кого-то, кто держаль его и толкаль впередъ. И вдругъ онъ вытянулъ руки, жалобно крикнулъ и упаль въ воду. Вода раздалась и плеснула, брызги взлетъли, темные круги пробъжали по водъ, умирая. И отель

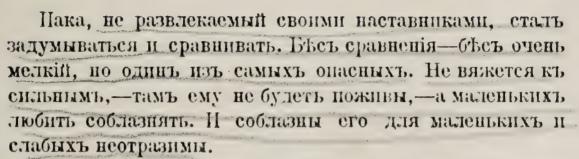
И стало снова тихо. Мертвая луна, ясная и холодная, висъла надъ тем-

нимъ обриволъ.



Пака сидълъ въ высокой бесъдкъ у забора своей дачи, и смотрълъ въ поле. Случилось, что онъ остался одинъ. А случалось это не часто. У Паки била гувернантка, билъ студенть, который училъ его кое-чему первоначальному, да и Пакина мама, хотя и не пребывала въ его дътской неотлучно,—у нея-же въдь било такъ много этихъ несносныхъ свътскихъ обязанностей, отношеній,—но все-же очень заботилась о Пакъ,—былъ бы Пака весель, милъ, любезенъ, не подходилъ къ опасностямъ и къ чужимъ нехорошимъ мальчишкамъ, и знался только съ дътьми семей изъ ихъ круга. И потому Пака почти постоянно былъ подъ надзоромъ. Уже и привыкъ къ этому, и не дълалъ попытокъ освободиться. Да еще онъ былъ такъ малъ: ему шелъ только восьмой годъ.

Иногда утромъ или днемъ, когда еще мама спала, или уже не было ея дома, гувернантка и студентъ находили вдругъ какія-то неотложныя темы для разговора наединѣ. Вотъ въ такія-то минуты Пака и оставался одинъ. Былъ такой тихій и послушный, что совсѣмъ не опасались оставлять его одного: никуда-же не уйдетъ, и уже навѣрное ничего не должнаго не сдѣлаетъ. Сядетъ и займется чѣмъ-нибудъ. Оченъ удобный мальчикъ.



Сегодня, въ знойный лётній день, Пака почувствоваль новую для него досаду. Новыя желанія томили его. Зналь, что эти желанія неисполнимы. Чувствоваль себя несчастнимь и обиженнымь.

Хотблось уйти изъ этого чиннаго дома въ широкое вольное поле, и тамъ шграть съ ребятишками. Быть на ръкъ, войти въ воду.

Вонъ тамъ, внизу, у рѣчки, какіе-то мальчики, —ловять рыбу, кричать что-то радостное. Право, лучие имъживется, чѣмъ Пакѣ. И почему доля его столь отлична отъ доли этихъ вольныхъ и веселыхъ дѣтей? Неужели милая мама хочеть, чтобы онъ здѣсь тосковалъ и печалился? Не можеть этого быть.

Горячее солице обдавало его зноемъ, и туманило мысли. Странныя мечты роились въ Накиной головъ...

Милая мама далеко, далеко, въ иной сторонъ. Нака въ илъну. Онъ принцъ, лишенный наслъдства. Злой волшебникъ отнялъ его корону, воцарился въ его королевствъ, а Наку заточилъ подъ надзоръ чародъйки. И злая фея приняла образъ его милой мамочки.

Странно, какъ Пака раньше не догадался и не поняль, что это не мама, а злая фея. Развъ такая была его милая мама прежде, въ счастливые годы, когда жили они въ замкъ гордыхъ предковъ?

Далеко, далеко!

Грустине Пакины глазатоскливо смотръли на дорогу.

Мимо проходили мальчики. Ихъ было трое. Тѣ самые, что были сейчасъ на рѣчкѣ. Одинъ былъ въ бѣлой блузѣ, другіе два въ синихъ матроскахъ и въ короткихъ панталонахъ. За плечьми у нихъ виднѣлись теперь луки и колчаны съ стрѣлами.

Счастливые мальчики!—подумаль Пака. — Сильные, смѣлые. Ноги у нихъ босыя, загорълыя. Должно быть, они простые мальчики. Но, все-таки, счастливые. Ужълучие быть простымь мальчикомь на волѣ, чѣмъ принцемъ въ плѣну.

Но воть Пака увидъль у старшаго на фуражкъ гимназическій значекъ, и удивился.

Мальчики подходили близко. Пака робко сказаль имъ:

- Здравствуйте.

Мальчики подняли на него глаза, и разсмъялись чему-то. Старшій изъ нихъ, который былъ со значкомъ и въ бълой блузъ, сказалъ:

- Здравствуй, комаръ, какъ поживаешь? Нака улыбнулся легонечко, и сказалъ:
- Я не комаръ.
- А кто же ты? -- спросиль гимназисть.
- Я—пленный принцъ, доверчиво признался Нака.

Мальчуганы съ удивленіемъ уставились на Паку.

- Зачъмъ вы такъ вооружени? спросилъ Нака.
- Мы вольные охотники, съ гордостью сказалъ второй изъ мальчиковъ.
 - . Краснокожіе? спросиль Пака.
- А ты откуда это узналь?—съ удивленіемъ спросиль самый маленькій изъ босыхъ мальчугановъ.

Пака улыбнулся.

- Да ужъ такъ,—сказалъ онъ.—У васъ и отецъ краснокожій?
- Нъть, у нась отець—капитань,—отвътиль старmitt.
- Плохіе же вы краснокожіе. А какъ васъ зовуть?— продолжаль спрашивать Пака съ любезностью благовоспитаннаго мальчика, привыкшаго поддерживать разговоръ.
- Я-Левка, -- сказаль гимназисть, -- а это-мон братья Антошка и Лешка.
- A я—Пака,—сказаль ильникь, и протянуль братьямь внизь руку, маленькую и бъленькую.

Они пожали его руку, и опять засмъялись.

- Вы что-же все смъстесь?-спросиль Нака.
- A то развѣ плакать? отвѣтиль вопросомъ Антошка.
- А что это значить—Пака? что за имя?—спросиль маленькій Лешка.
- Я—принцъ, повториль Пака,—если бы я быль простой мальчикъ, то меня звали бы Павломь.
 - Воть оно что!-протянуль Лешка.

Мальчики замолчали и глядъли другъ на друга. Пака разсматривалъ ихъ съ любонытствомъ и завистью.

Левка—мальчикъ лътъ двънадцати, рыжеватый, коротко остриженный, съ веселыми и добрыми глазами и мягкими губами. Лицо кое-гдъ въ веснушкахъ. Носъ широковатый и слегка вздернутый. Милый малый. Антошка лътъ десяти и Лешка лътъ девяти повторяли старшаго брата довольно близко, только были еще понъжнъе и подобръе на видъ. Антошка, улыбаясь, легонечко щурился и смотръль очень внимательно на собесъдника. У Лешки глаза были широко открытые,

съ привычнымъ выраженіемь удивленія и любопытства. Всю они старались казаться молодцами, и для того лютомъ постоянно ходили босые, устроили въ люсу нору, и тамъ варили и пекли себъ пищу.

Пака вэдохнуль легонечко, и тихонько сказаль:

- Счастливые вы. Ходите на свободъ. А я-то сижу въ плъну.
- Какъ-же ты въ илънъ попаль?—спросиль Лешка, любопытными и широкими глазами глядя на Паку.
- Да ужъ и самъ не знаю, отвъчалъ Пака. Мы раньше съ мамочкой жили въ замкъ. Было очень весело. Но злая фея, наша дальняя родственница, разсердилась на мамочку за то, что мамочка не пригласила ея на мои крестины, и воть однажды ночью унесла меня на ковръ-самолетъ, когда я спалъ, и потомъ сама обернулась мамочкой. Но она не мамочка. А я въ плъну.
- Ишь ты, какая злая въдьма,—сказалъ Антошка.— Она тебя бьеть?

Пака покрасивлъ.

- О, нъть, сказаль онь, какъ можно! И она не въдьма, а злая фея. Но только она очень воспитанная фея, и никогда не забывается. Нъть, меня не бьють, какъ можно! повторилъ Нака, вздрагивая худенькими плечиками при мысли о томъ, что его могли бы побить. Но только меня стерегуть, mademoiselle и студенть.
 - Аргусы? спросиль Левка.
- Да, аргусы,—повториль Пака.—Два аргуса,—повториль онь еще разь, улыбаясь, потому что ему понравилось это слово, и онь могь теперь объединить имъ и mademoiselle и студента.
 - И не пускають никогда въ поле? спросилъ

Лешка, и съ горестнымь сочувствіемъ смотрѣлъ на Паку.

- Нъть, одного не пускають, —сказаль Пака.
- А ты бы самъ вырвался, да и махни-драла,—посовътовалъ Антонка.
- Нътъ, сказалъ Пака, нельзя мнъ махни-драла, аргусы сейчасъ увидять и воротять.
- Илохо твое дѣло,—молвилъ Левка.— Да мы тебя освободимъ.
- 0!—съ недовъріемъ и восторгомъ воскликнуль Пака, складывая молитвенно руки.
 - Еп Богу, освободимъ, повторилъ Антошка.
 - А пока прощай, намь некогда, сказаль Левка.

И мальчики простились съ Накою, и ушли, — побъжали, быстро-быстро, по узкой дорожкъ, — скрылись за кустами. Нака смотрълъ за инми, и неясныя надежды волновали его, и мечты о далекой мамочкъ, которая ищеть Паку и не можеть найти, и плачеть неутъшно, потому что нътъ съ нею милаго Пакочки.

II.

Братья, уходя, говорили о Пакъ.

- Посмотръть бы на эту злую фею,— сказаль Лешка,—какая она такая.
 - Фея! Просто въдьма, —поправилъ Антошка.
 - Конечно, въдьма, подтвердилъ и Левка.
 - Какъ же его освободить?-спросиль Лешка.

Маленькому любопытному Лешкъ весь міръ представлялся съ вопросительной стороны. Лешка обо всемъ любопытствоваль, ко всъмъ приставаль съ вопросами, и всякому отвъту простодушно върилъ. Антошка любилъ фантазировать и сочинять болье или менъе смълые

проекты. А Левка, какъ старшій, одобрялъ или отвергаль эти предположенія, и братья безпрекословно подчинялись его ръшеніямъ.

Антошка сказаль:

- Противъ въдьмы слово надо знать.
- А какое слово?-быстро спросиль Лешка.

Мальчики призадумались, и нъсколько минуть шагали молча. Вдругъ Антошка крикнулъ:

- А я знаю.
- Hy?—спросиль Левка, и недовърчиво глянулъ на Антошку.

Антошка, слегка смущаясь подъ уставленными на него взорами обоихъ братьевъ, сказалъ:

— Я думаю, мужики это слово знають. У нихъ въ деревняхъ много колдуновъ. И они всф, деревенскіе мужики и бабы, другъ на друга часто сердятся, портять одинъ другого, а чтобы ихъ самихъ порча не брала, такъ они очень часто такія слова непонятныя говорять,— про мать вспомнить, и такое слово произнесеть.

Левка подумаль немного, и сказаль:

— Пожалуй, что и такъ. Это у нихъ крылатыя слова.

III.

На другое утро три мальчика, возясь у ръчки, все посматривали на заборъ Пакиной дачи. Когда бълокурая Пакина голова показалась надъ заборомъ,— и видно было, что мальчикъ опять одинъ на своей вышкъ,—мальчуганы забрали удочки, и побъжали вверхъ по дорожкъ.

- Здравствуй, плънникъ, сказалъ Лешка.
- Пленный принцъ, —поправилъ Антошка.

- Принцъ Пака, маленькій зѣвака,—сказалъ Левка. Пака, сдержанно улыбаясь, пожималь ихъ руки.
- Отчего-же вы, краснокожіе охотники, не над'внете мокасины?—спросиль онъ.

Мальчики засмъялись. Антошка сказаль:

- А эти скороходы чѣмъ не хороши? Изъ собственной кожи. У насъ на дачѣ такое правило есть, чтобы диваны сапогами не пачкать,—такъ воть мы сапогъ и не надъваемъ.
- <u>А мит бы не пройти босикомъ по песку, ска-</u> залъ Пака.
- Гдѣ тебѣ!— молвилъ Левка.—У тебя скорлуна гоньше папиросной бумаги. Да мы къ тебѣ по дѣлу за-шли. Мы хотимъ тебя освободить отъ злой феи. Понимаешь, разворожить. Ты скажи, когда это удобнѣе сдѣлать.

Пака недовърчиво улыбнулся. Вчера, послъ первой радости надеждъ, когда вернулись къ нему mademoiselle и студентъ, и потомъ мама—злая фея, и весь домашній обиходъ надвинулся съ его несокрушимымъ порядкомъ, замокъ злой феи показался плъненному Пакъ такимъ прочнымъ, такимъ незыблемымъ, что сердце его тоскливо сжалось, и милая радостная надежда поблъднъла и тихо растаяла, какъ туманъ надъ ободнявшею долиною. И онъ сказалъ братьямъ:

- Да вы не сумвете.
- Нъть, сумъемъ, порячо отвътиль Лешка.

И Левка разсказалъ:

— Мы такія слова выучили. Нарочно въ деревню сходили, самаго стараго колдуна отыскали, заплатили ему за науку, и твердо выучили всѣ слова, какія надо говорить.

- A какія это слова?—спросить Пака. Левка свистнуль. Антошка сказаль:
- Тебъ еще нельзя такія слова знать.
- Ты еще мать для этого, —сказаль Лешка.

Левка сказаль Пакъ:

- Ты намь разскажи, когда твоя въдьма будеть дома,—иу, понимаешь, эта фея, у которой ты въ штъну,—поправился онъ, замътивъ недовольную при словахъ въдьма гримасу на Пакиномъ лицъ.—Мы подойдемъ
 подъ окно,—продолжалъ Левка,—и скажемъ крылатыя
 слова,—и сейчасъ все колдовство пропадеть, и ты освободишься.
 - И мама верпется?-спросиль Нака,
- Ну, ужъ тамъ видно будеть, отвътилъ Левка. Конечно, если все ся колдовство іпропадеть, то, значить, ты опять будень тамъ, гдъ она тебя взяла.

Нака помолчаль, и сказаль:

— Мы объдаемь въ семь часовъ.

И ему стало вдругъ жутко, -и страшно, и радостно.

- Такъ въ семь часовъ приходить? спросиль Лешка.
- Нъть, сказаль Пака, лукаво и застънчиво улыбаясь, лучше попозже, часовъ въ восемь, вообще послъсладкаго, а то у мамы, можеть быть, объдъ уже съъдень будеть, такъ я безъ сладкаго останусь.

Босне мальчуганы засмъялись.

- Эхъ ты, принцъ Пашка-лизашка,—сказалъ Антошка,—сладенькое любишь.
 - Люблю, —признался Пака.

Мальчики распрощались и ушли.

У себя дома,—не на дачф дома, а въ ихъ собственномъ помфицени въ лфсу, въ оврагф, въ норф подъкорнями сваленнаго бурею дерева,—дома они совфицамись, какъ исполнить замышленное предпріятіе. Откладывать не было никакого смысла,—рфицип сдълать это сегодня-же.

Антонка придумаль, что для большей крѣности надо слова не только сказать, но и написать на стрълахъ и пустить эти стрълы въ окна въдьминой дачи.

Левка распредвлиль роли:

- Мы подкрадемся подъ окна и будемъ ждать. Когда будеть видно, что Нака съблъ свое сладкое, мы и закричимъ.
 - Вев сразу?-епросиль Лешка.
- Нъть, зачъмъ, —надо, чтобы они всъ хорошенько ихъ разобрали. Сначала я скажу въ прошедшемъ времени, потому что я уже былъ такимъ малышемъ, какъ вы. Потомъ ты, Антошка, крикнешь настоящее время, —ты теперь малышъ, а потомъ и ты, Лешка, кричи будущес время, —ты еще будешь такимъ большимъ, какъ я. И эти же слова каждый изъ насъ на своей стрълъ напишеть.
- Стрълы надо черныя сдълать, сказаль Антошка.
 - Само собою, —согнасился Левка.
 - Писать своею кровью,—продолжаль Антошка. Левка и это одобриль.
- Ну, понятно,—сказалъ опъ.—Не чернилами же такія слова писать.

Нака очень волновался. Вся его судьба перемънится въ этотъ день. Онъ вернется къ мамочкъ. Какая мамочка? Злая фея приняла видъ мамочки. Значить, мамочка такая-же. Только добрая, добрая, все будеть играть со своимъ мальчикомъ, а когда мальчикъ захочеть къ ръчкъ, то будеть пускать его къ другимъ веселымъ, загорълымъ мальчуганамъ.

Но только Пака должень быль сознаться, что злая фея, хотя и злая, все-же была съ нимъ всегда любезна. Держала въ илбиу, но, видно, помнила, что онъ принцъ. Даже иногда цъловала и ласкала его. Должно быть, привыкла къ нему. Когда Пака освободится отъ нея, злая фея очень разсердится. Или опечалится? Можеть быть, будеть скучать о Пакъ? Илакать?

Накъ стало тоскливо. Нельзя-ли устроить дѣло миромь?—чтобы злая фея помирилась съ мамочкою, отказалась бы оть своего колдовства,—и тогда она могла бы даже вмъстъ съ ними жить. Надо поговорить со злою феею, предупредить ее,—можеть быть, она и сама раскается.

И когда студенть, кончивь съ нимъ задачу, позваль его въ садъ, Пака заявиль, что ему надо итти къ мамъ. И отправился,—къ злой феъ.

Злая фен была одна. Она ждала гостей къ объду, лежала на очень красивомъ и очень мягкомъ ложъ, и читала книжку въ желтой обложкъ. Она была молодая, красивая. Темине волоси, томиня движенія. Жгучій взоръ черныхъ глазъ. Полныя, полуоткрытыя, очень красивыя руки. Одъта всегда къ лицу.

— А, маленькій,—сказала она, неохотно отрываясь отъ книжки.—Что тебь?

Пака поцъловать ея руку, посмотръть на нее неръшительно, и молвилъ:

- Мит надо съ вами поговорить.

Злая фея засмъялась.

— Поговорить съ нами? — переспросила она. — Съ къмъ это съ нами?

Пака покрасиълъ.

- Ну, съ тобою. Миъ очень надо.

Смъясь, щуря блестящіе глаза и закрывая смъющійся роть книжкою, злая фея сказала:

- Садись и поговори, маленькій. А что ты сейчась дізлать?
 - Мы съ нимъ рфшали задачу, отвътиль Нака.
 - А, съ нимь!

Злая фен хотъла сказать, что такъ невъжливо, что надо назвать студента по имени,—но уже ей стало скучно, и она сказала:

- Ну, Пака, говори, что тебъ надо.

Пака сильно покрасиблъ и, нервно поламывая пальцы, сказалъ:

— Я все знаю.

Злая фея весело и неудержимо-звонко засм'вялась.

- О, неужели!—воскликнула она.—Уже такъ рано,
 и все знаешь. Ты, Пака, феномень, если это правда.
- Нътъ, мама, кротко возразилъ Пака, я не феноменъ, я только принцъ, взятий вами въ плънъ.
- 0!—воскликнула здая фея, перестала смѣяться, и съ удивленіемъ смотрѣла на Паку.—У насъ фантазін!—съ удивленіемъ сказала она.

Пака такъ-же кротко продолжать:

— Я еще знаю, милая фея, что вы не мама, а злая

фея. Вы очень любезная особа, но, пожалуйста, не сердитесь, я все таки знаю, что вы злая фея.

— Боже мой!—воскликнула элая фея,—оть кого ты наслушался такихъ чудесныхъ сказокъ. Поди сюда поближе, маленькій.

Пака опасливо приблизился, и злая фея пощупала его голову, руки.

- Ты не боленъ? спросила она.
- Нъть, милая фея, ласково сказаль Нака, цълуя маленькія, бълыя и нъжныя руки элой феи, но, пожалуйста, отпустите меня на волю.
 - На волю?—переспросила фея.
- Да,—продолжаль Пака,—я хочу махни-драла къ ръчкъ
- O! махии-драла!—въ ужасъ повторила фея.—Ради Бога, Пака, развъ можно такія слова говорить!

Но Пака, не слушая, продолжаль:

- Съ мальчиками поиграть. Тамъ есть славные мальчуганы. Но только, пожалуйста, безъ аргусовъ.
- Безь аргусовъ?—переспросила злая фея, и опять засмъялась.—О, маленькій фантазеръ! Намь дали слишкомъ много волшебныхъ сказокъ, маленькій Пака, и у насъ въ головъ все перемъщалось. Но аргусы,—это, правда, мнъ правится. Позови ко мнъ своихъ аргусовъ,—это надо какъ-нибудь успокоить.

Пака вышель.

Хитрая!—думать онь,—не сердится, но видно, что не отпустить на волю. Много сказокь дали читать! А сама зачемь постоянно читаеть такія длинныя сказки на французскомь языке въ этихъ желтыхъ книжкахъ! Видно, и въ сказкахъ не все сказка, а есть и правда, если и взрослые любять читать сказки.

П воть уже быль вечерь, и начинало темифть. Были заяжены веселыя лампы, обфдь приближался къ концу, къ самому интересному мфсту,—подавали сладкое, — воздушный пирогъ съ земляникою и сливками. Были гости, мужчины и дамы, человфкъ десять, но такъ какъ все это были или родственники,—Пакинъ дядя съ дочерьми; еще другія кузины,—или собирающієся породниться, близціє и хорошіє знакомые, то столь быль накрыть по-семейному, и Пака сидфль туть-же, на конців стола противь злой фен, между своими аргусами.

Злая фея разсказала гостямъ про Накочкины фантазін, и надъ Накою и его аргусами подшучивали. Нака улыбался: онъ зналъ, что онъ правъ, и онъ любилъ этотъ воздушный ипрогъ. А вотъ аргусамъ было очень пеловко, и хотя они улибались и даже иногда отшучивались, но у mademoiselle уши горъли, а въ голосъ студента иногда звучали досадливыя потки. Передъ объдомъ злая фея поговорила съ вими очень мило и весело о ихъ недосмотръ: Накины фантазіи, ужасное выраженіе махни-драла.—откуда это? удивлялась злая фея. Она была очень любезна, но какъ-то такъ вышло, что аргусы вышли оть нея съ ощущенемъ жестокаго нагоняя.

И воть, едва Нака успъль кончить свое сладкое, въ открытое окно столовой съ легкимъ шелестомъ и свистомъ влетъла и унала на бълую скатерть черная деревянная стръла, со слабо красиъющею на ней надписью. И въ то-же время за окномъ дътскій голосъ выкрикнуль площадную брань.

"Началось!" подумать Пака.

Онъ вскочиль, дрожа всемь теломь, и съ боязливымь нетерпениемъ смотрель на злую фею. А злая фея, какъ

и другія дамы и дівніцы, была испугана неожиданностью. Раздались восклицанія обідающихь, но прежде, чімь кто-нибудь догадался подойти къ окну, влетіла вторая стріла, вонзилась въ букеть цвітовь на столі, и послышался другой дітскій голось, выкрикнувшій гадость. Третья стріла понала въ мундирь студента, третій голось звонко выкрикнуль безобразныя слова, и потомь въ саду послышался сміхь, шелесть удаляющихся шаговь, крики прислуги,—кто-то убіталь, кого-то догоняли.

И все это взяло времени меньше минуты. Когда мужчины наконець бросились къ окнамъ, то въ легкомъ полусвъть вечерней зари уже за оградою сада увидъли они проворно убъгающихъ трехъ мальчишекъ.

— Не догнать, — сказаль Пакинъ дядя. — Воть вамъ наглядное объяснение выражения махии-драда.

И вст смотръди на Паку. А опъ стоять, смотръдъ вокругъ, и дивился. Все осталось на мъстъ, обманули его глупые мальчишки, не сумъли освободить его изъ плъна.

— Говориль я имъ, что не сумбють!—горество воскликнуль Пака, и залился горькими слезами.

Разспрашивали. Волновались. Смъялись. Было шумно, не то весело, не то досадно. Злая фея восклицала:

- Какъ это кстати, что мы на дняхъ уъдемъ! Какіе невозможные мальчишки!
 - Но ихъ накажуть! успоканваль ее Пакинь дядя.
- О, какое мив двло! говорила злая фея, и притворялась, что плачеть,—Пака такой внечатлительный. Воже мой, два аргуса не досмотрвли.

Плакала и смъялась. Смъялись и утъщали. Паку увели. Пака плакаль. Аргусы ворчали.

Да, въ Пакиной жизни бывали тижелыя минуты. Это

быль скучный, противный вечерь. Хорошо, что была потомъ ночь, и можно было заснуть.

VII.

На утро босымъ мальчикамъ пришлось объясняться съ отцомъ. Капитанъ хмуро смотрълъ на своихъ сыновей. Они стояли рядышкомъ, плакали и каялись. Левка разсказывалъ:

- Мы ему повърили, что онъ плънный принцъ, и захотъли его освободить отъ злой фен. Мы думали, что для этого надо сказать волшебныя слова.
 - Какія слова?—хмуро спросить канитань.
 Онь хмурился усиленно, чтобы не засм'яться.
- Крылатыя слова,—сказаль Левка, плаксиво растягивая окончанія словь.
- Какія крылатыя? опять спросиль капитань. Въль вы ихъ знаете?

Левка молча кивнуль головой.

— Ну, скажите, какія же это слова,—приказаль капитанъ.

Мальчишки повторили. Капитанъ гифвио покрасифлъ.

— Вырастиль дураковь, —сердито проворчаль онь. — Не смъть впередъ говорить этого! Это гадость, —крикнуль онъ на сыновей. —Откуда вы научились?

Левка разсказиваль, рыдая:

— Мы думали, что мужики знають всякія крылатыя слова, какія нужно. Мы и пошли вь деревию. Къ самому старому пришли. Онъ пиль водку, и произносиль слова. Мы дали ему сорокъ копъекъ, больше не было. Онъ насъ и научиль этимъ словамъ. Мы просили еще. А овъ сказаль:—за сорокъ копъекъ многому не научишься. И то,

говорить, противъ такихъ словъ ни одна въдьма не устоитъ.

— Молодцы ребята,—сказать капитань.—И съ такими-то словами вы подъ чужія окна пошли. Ахъ вы, негодян! Что ми'в теперь съ вами д'влать?

VIII.

Мальчуганы знали, что Наку сегодня утромъ увезуть. Злая фея фдеть за границу, и везеть за собою Наку съ его аргусами. Мальчики вышли на полотно железной дороги, тамъ, где она подходить къ ихъ оврагу, и ждали. И воть оть станціи показался быстро приближающійся пофздъ.

Нака смотръль въ окно затуманенными глазами. Везуть,—и аргусы опять съ нимъ, и злая фел,— любезная, ласковая, по все не мама, а злая фел,— и тотъ же все плънъ!

И вдругъ Пака увидълъ трехъ босыхъ мальчиковъ. Безумная, отчаянная надежда мелькнула въ его душъ. Можеть быть, они узнали новыя слова? Настоящія? И вдругъ совершится радостное чудо?

И Пака въ восторгъ высунулся изъ окна, и замахалъ илаткомъ.

И мальчуганы радостно побъжали по откосу пути, ближе къ потаду. Пакинъ вагонъ подходилъ быстро. Лицо элой фен показалось надъ Пакинымълицомъ, равнодушно-любезное лицо красивой дамы,— и вдругъ исказилось выраженіемъ жестокой тревоги.

И въ радостномъ ожиданіи мальчуганы, одинъ за другимъ, прокричали еще новыя, только-что разученныя ими крылатыя слова, и замахали шапками. — Опять эти ужасные мальчики!—воскликнула злая фея.—Пака, не смотри нока, маленькій, въ окно.

Но уже все равно, пободъ промчался мимо мальчугановъ,—и они опять остались безсильные, разочарованные въ ихъ страстномъ ожиданіи радостнаго событія.

— Увезла! проклятая въдьма! — горестно крикнулъ Антошка.

Мальчуганы повалились въ траву, и горько илакали. И въ быстро улетающемъ вагонъ Пака плакаль, элая фея смъялась, аргусы старались развлечь Паку чъмънибудь.

Безепльныя, бъдныя слова! Нерасторжимый плъпъ! Горькія дътскія слезы!

Глупыя, бъдныя,— о, если-бы знали! Фел, похищающая на ковръ-самолетъ сиящихъ дътей, какъ прочно, нерупимо ея владычество! и никому не дано сорватъ съ нея личины. И аргусы ничего не видять, но не выпустятъ изъ ограды. И не уйти изъ плъна. И вольные охотники напрасно ищутъ мудрыхъ и знающихъ.

Все на мъсть, все сковано, звено къ звену, навъкъ зачаровано, въ илъну, въ илъну...

маленькій человъкъ.



Якову Алексъевнчу Саранину кемного недоставало до средняго роста; жена его, Аглая Никифоровна, изъкупчихъ, была высока и объемиста. Уже и теперь, на первомъ году постъ свадьбы, двадцатилътняя женщина была дородна такъ, что рядомъ съ маленькимъ и тощимъ мужемъ казалась исполиниею.

"А если еще раздобръеть?"—думать Яковъ Алексъевичь.

Думаль, хотя женился по любви,—къ ней и къ приданому.

Разница въ ростъ супруговъ неръдко вызывала насмъщливыя замъчанія знакомыхъ. Эти легкомысленныя шутки отравляли спокойствіе Саранина, и смъщили Аглаю Никифоровну.

Однажды, послѣ вечера у сослуживцевь, гдѣ пришлось выслушать не мало колкостей, Саранинь вернулся домой совсѣмъ разстроенный.

Лежа въ постели рядомъ съ Аглаею, ворчалъ и придирался къ женъ. Аглая лъниво и нехотя возражала соннымь голосомъ:

— Что же мит дълать? Я не виновата. Она была очень покойнаго и мирнаго права. Саранинъ ворчать:

- Не обжирайся мясомъ, не трескай такъ много мучного; цълый день конфеты лопаешь.
- Не могу же я ничего не кушать, коли у меня хорошій аппетить,—сказала Аглая.—Когда я была въ барышняхъ, у меня еще лучше быль аппетить.
 - Воображаю! Что жъ ты, по быку сразу събдала?
- Быка сразу събсть невозможно,—спокойно возразила Аглая.

Скоро заснула, а Саранинъ заснуть не могъ въ эту странную осеннюю ночь.

Долго ворочался съ боку на бокъ.

Когда русскому человъку не спится, онъ раздумываеть. И Саранинъ предался этому занятію, столь мало ему свойственному въ другое время. Онъ же быль чиновникъ,—много думать было не о чемъ и не къ чему.

"Должны же быть какія-нибудь средства, - размышлять Саранинъ.-Наука съ каждымъ днемъ совершаеть удивительныя открытія; въ Америкъ дълають людямъ носы какой угодно формы, наращивають на лицо новую кожу. Операцін какія дълають, - черепь продыравливають, кишки, сердце ръжуть и зашивають. Неужели же нъть средства или миъ вырасти, или Аглаъ тълесъ посбавить? Какое-нибудь секретное бы средство? Да какъ его найти? Какъ? Да, воть если лежать, то не найдешь. Подъ лежачій камень и вода не бъжить. А понскать... Секретное средство! Можеть быть, онъ, изобрътатель, просто ходить по улицамь да ищеть покупателя. Въдь какъ же иначе? Не можеть же онъ публиковать въ газетахъ... А по улицамъ — въ разносъ, изъ-подъ полы продать что угодно, -- это очень возможно. Ходить, предлагаеть по секрету. Кому нужно секретное средство, тоть не станеть валяться въ постели".

Такъ поразмысливъ, Саранинъ сталъ проворно одъваться, мурлыча себъ подъ носъ:

- Въ двънадцать часовъ по ночамъ...

Не боялся разбудить жену. Зналь, что Аглая спить кръпко.

— По-купечески,—говорилъ вслухъ; "по-мужицки"— думалъ про себя.

Одълся и вышель на улицу. Спать совсъмъ не хотълось. На душъ было легко, и настроеніе было такое, какъ у привычнаго искателя приключеній передъ новымь интереснымъ событіемъ.

Мирный чиновникъ, прожившій тихо и безцвътно треть въка, ощутиль вдругь въ себъ душу предпрінмчиваго и свободнаго охотпика дикихъ пустынь, — героя Купера или Майнъ-Рида.

Но, пройдя нѣсколько шаговъ привычною дорогою,— къ департаменту,—остановился, призадумался. Куда же, однако, итти? Все было тихо и спокойно, такъ спокойно, что улица казалась корридоромъ громаднаго зданія, обычнымъ, безопаснымъ, замкнутымъ отъ всего внѣшняго и внезапнаго. У вороть дремали дворники. На перекресткѣ виднѣлся городовой. Фонари горѣли. Илиты тротуара и камни мостовой слабо мерцали сыростью недавно прошедшаго дождя.

Саранинъ подумаль, и въ тихомь недоумъніи пошель прямо впередъ, повернуль направо.

П.

На перекресткъ двухъ улицъ при свътъ фонарей онъ увидъль идущаго къ нему человъка, и сердце его сжалось радостнымъ предчувствіемъ.

То была странная фигура.

Халать яркихъ цвътовъ, съ ишрокимъ поясомъ. Высокая шанка, остроконечная, съ черными узорами. Шафраномъ окрашенная бородка, длинная и узкая. Бълые, блестящіе зубы. Черные, жгучіс глаза. Ноги въ туфляхъ.

"Армянинъ!"—подумалъ почему-то Саранинъ. Армянинъ подошелъ къ нему, сказалъ:

- Душа моя, чего ты ищешь по ночамь? Шель бы спать, или къ красавицамь. Хочешь провожу?
- Нътъ, мнъ и моей красавицы слишкомъ довольно,—сказалъ Саранинъ.

И довърчиво повъдать армянину свое горе.

Армянинъ оскалилъ зубы, заржалъ.

- Жена большая, мужь маленькій,—цѣловать, лѣстницу ставь. Вай, нехорошо!
 - Что ужъ туть хорошаго!
 - Иди за мной, помогу хорошему человъку.

Долго шли они по тихимъ корридорообразнымъ улицамъ, армянинъ впереди, Саранинъ свади.

Оть фонаря до фонаря странное превращение совершалось съ армяниномь. Въ темнотъ онъ выросталъ, и, чъмь дальше отходиль оть фонаря, тъмъ громаднъе становился. Иногда казалось, что острый верхъ его шапки поднимался выше домовъ, въ облачное небо. Потомъ, подходя къ свъту, онъ становился меньше, и у фонаря принималь прежние размъры, и казался простымъ и обикновеннымъ халатникомъ-торгашомъ. И, странное дъло, Саранина не удивляло это явление. Онъ былъ настроенъ такъ довърчиво, что и самыя яркія чудеса арабскихъ сказокъ показались бы ему привычными, какъ и скучныя переживанія съренькой обычности. У вороть одного дома, самой обычной постройки, интивтажнаго и желтаго, они остановились. Фонарь у вороть ясно вырисовываль свои тихіе знаки. Саранинь зам'ютиль:

- No 41.

Вошли во дворъ. На лѣстницу задняго флигеля. Лѣстинца полутемная. Но на дверь, передъ которою остановился армянинъ, падалъ свѣтъ тусклой лампочки,—и Саранинъ различилъ цифры:

— № 43.

Армянинъ сунулъ руку въ карманъ, вытащилъ оттуда маленькій колокольчикъ, такой, какимъ звонять, призывая прислугу, на дачахъ, — и позвонилъ. Чисто, серебристо звякнулъ колокольчикъ.

Дверь тотчась же открылась. За дверью стояль босой мальчишка, красивый, смуглый, съ очень яркими губами. Бълые зубы блестъли, потому что онъ улыбался, не то радостно, не то насмъщливо. И казалось, что всегда улыбался. Зеленоватымь блескомь горъли глаза смазливаго мальчишки. Весь быль гибкій, какъ кошка, и зыбкій, какъ призракъ тихаго кошмара. Смотръль на Саранина, улыбался. Саранину стало жутко.

Вошли. Мальчикъ закрылъ дверь, изогнувщись гибко и ловко, и пошелъ передъ ними по корридору, неся върукъ фонарь. Открылъ дверь, и опять зыбкое движеніе, и смъхъ.

Страшная, темная, узкая компата, уставленная по стънамъ шкапами съ какими-то пузырьками, бутилочками. Пахло странно, раздражающимъ и непонятнымъ запахомъ.

Армянинь зажегь лампу, открыль шкапь, порылся тамь, и досталь пузырекь съ зеленоватою жидкостью.

- Хорошія канли,— сказаль онъ,— одну канлю на стакань воды дашь, заснеть тихонько, и не проснется.
- Нъть, миъ это не надо, досадливо сказалъ Саранинъ, —развъ я за этимъ пришелъ!
- Душа моя, убъждающимъ голосомъ сказаль армянинъ, другую жену возьмешь, себъ по росту, самое простое дъло.
 - Не надо!-закричаль Саранинь.
- Ну, не кричи,— остановиль армянинь.— Зачъмъ сердишься, душа моя, себя даромъ разстранваешь. Не надо, и не бери. Я тебъ другихъ дамъ. Но тъ дорогія, вай-вай, дорогія.

Армянинъ, присъвъ на корточки, отчего его длиниая фигура казалась смъщною, досталъ четырехугольную бутылку. Въ ней блестъла прозрачная жидкость. Армянинъ сказалъ тихо, съ тапиственнымъ видомъ:

— Каплю выпьешь—фунть убудеть; сорокь капель выпьешь—пудь въса убудеть. Капля—фунть. Капля—рубъ. Считай капли, давай рубли.

Саранинъ зажегся радостью.

"Сколько же надо?—подумаль Саранинъ.—"Въ ней пудовъ пять навърняка будеть. Сбавить три пуда, останется малюсенькая женка. Это будеть хорошо".

— Давай сто двадцать капель.

Армянинъ покачалъ головою.

— Много хочешь, худо будеть.

Саранинъ вспыхнуль.

— Ну, это ужъ мое дъло.

Армянинъ посмотрълъ на него пытливо.

— Считай деньги.

Саранинъ вынулъ бумажникъ.

"Весь сегодняшній выпрышь, да своихь прибавить надо",—подумаль онъ.

Армянинь тымь временемь досталь граненый фла-кончикь, и сталь капать.

Внезанное сомнъніе зажглось въ душъ Саранина.

Сто двадцать рублей-деньги не малыя. А вдругь обманеть?

- A върно ли онъ дъйствують? спросилъ онъ неръшительно.
- Товаръ лицомъ продаемъ, сказалъ хозяннъ. Сейчасъ покажу дъйствіе. Гаспаръ, крикнуль онъ.

Вошель тоть же босой мальчикь. На немь была красная куртка и короткіе синіо панталоны. Смуглыя ноги были открыты выше кольнь. Онъ были стройныя, красивыя, и двигались ловко и быстро.

Армянинь махнуль рукой. Гаспарь проворно сбросиль одежду. Подошель къ столу.

Свъчи тускло озаряли его желтое тъло, стройное, сильное, красивое. Послушную, порочную улыбку. Черные глаза и синеву подъ ними.

Армянинъ говорилъ;

— Чистыя капли пить, — сразу дъйствовать будеть. Размъшать въ водъ или вишь, — медленно, на глазахъ не замътишь. Плохо смъщаешь, — скачками пойдеть, некрасиво.

Взяль узкій стакань, съ дёленіями, налиль жидкости, дать Гаспару. Гаспарь съ ужимкою избалованнаго ребенка, которому дали сладкое, выпиль жидкость до дна, запрокинуль голову назадь, вылизаль последнія сладкія капли длиннымь и острымь языкомь, похожимь на зм'виное жало,—и тотчась же, на глазахь у Саранина, начать уменьшаться. Стояль прямо, смотр'яль на Сара-

нина, смъялся, и измънялся, какъ купленная на вербъ кукла, которая спадается, когда изъ нея выпускають воздухъ.

Армянинъ взялъ его за локоть, и поставилъ на столъ. Мальчикъ билъ величиною со свъчку. Илясалъ и кривлялся.

- Какъ же онъ теперь будеть?-спросиль Саранинъ.
- Душа моя, мы его вырастимъ,— отвътилъ армянинъ.

Открыль шкапъ, и съ верхней полки досталь другой сосудъ столь же странной формы. Жидкость въ немъ была зеленая. Въ маленькій бокаль, величиною съ наперстокъ, налиль армянинъ немного жидкости. Отдаль ее Гаспару.

Опять Гаспаръ выпиль, какъ первый разъ.

Съ неуклонною медленностью, подобно тому, какъ прибываеть вода въ ваннъ, голый мальчикъ становился больше и больше. Наконецъ вернулся къ прежнимъ размърамъ.

Армянинъ сказалъ:

— Пей съ виномъ, съ водой, съ молокомъ, съ чъмъ хочень ней, только съ русскимъ квасомъ не пей,— сильно линять станешь.

III.

Прошло и всколько дией.

Саранинъ сіяль радостью. Загадочно улыбался.

Ждаль случая.

Дождался.

Аглая жаловалась на головную боль.

— У меня есть средство,—сказаль Саранинь,—отлично помогаеть.

- Никакія средства не номогуть,—съ кислою гримасою сказала Аглая.
- Нъть, это номожеть. Это я оть одного армянина досталь.

Сказаль такъ увъренно, что Аглая повърила въ дъйствительность средства отъ армянина.

— Ну ужъ ладно, дай.

Принесъ флакончикъ.

- Гадость?—спросила Аглая.
- Предестная штука на вкусь, и помогаеть отлично. Только немного прослабить.

Аглая сдълала гримаску.

- Heft, neft.
- А въ мадеръ можно?
- Можно.
- II ты выпей со мною мадеры,—капризно сказала Аглая.

Саранинъ налилъ два стакана мадеры, и въ женинъ стаканъ вылилъ снадобье.

— Мић что-то холодно,—тихонько и лѣниво сказала Аглая,—хоть бы платокъ.

Саранинъ побъжаль за платкомъ. Когда онъ вернулся, стакацы стояли, какъ прежде. Аглая сидъла и улыбалась.

Закуталъ ее въ платокъ.

- Мић какъ будто бы лучше, сказала опа, шить ли?
- Пей, пей! закричаль Саранинь. —За твое здоровье.

Онъ схватилъ свой стаканъ. Выпили.

Она хохотала.

- Что?-спросить Саранинь.

— Я перемънила стаканы. Тебя прослабитъ,—а не меня.

Вэдрогнуль. Побледнель.

— Что ты надълала?—воскликнуль онь въ отчаяніи. Аглая хохотала. Смъхъ ея казался Саранину гнуснымъ и жестокимъ.

Вдругъ онъ вспомнилъ, что у армянина есть возстановитель. Побъжалъ къ армянину.

"Дорого сдереть!— опасливо думаль онь.— Да что деньги! Пусть все береть, лишь бы спастись оть ужаснаго дъйствія этого спадобья."

IV.

Но элой рокъ обрушился, очевидно, на Саранина.

На дверяхъ квартиры, гдѣ жилъ армянинъ, висѣлъ замокъ. Саранинъ въ отчаянии хватылся за звонокъ. Дикая надежда одушевила его. Звонилъ отчаянно.

' За дверью громко, отчетливо, ясно звенѣлъ колокольчикъ,—съ тою неумолимою яспостью, какъ звонятъ колокольчики только въ пустыхъ квартирахъ.

Саранинъ побъжалъ къ дворнику. Былъ блъденъ. Мелкія капельки пота, совсѣмъ мелкія, какъ роса на холодномъ камвъ, выступили на его лицъ, и особенно на носу.

Стремительно вбъжаль въ дворницкую, крикнулъ:

— Гдф Халатьянцъ?

Апатичный чернобородый мужикъ, старшій дворникъ, пиль чай съ блюдечка. Покосился на Саранина. Спросиль невозмутимо:

— А вамъ что отъ него требуется?

Саранивъ тупо гляделъ на дворника, и не зналъ, что сказать.

- Ежели у васъ какія съ нимъ дѣла,—говорилъ дворникъ, подозрительно глядя на Саранина,—то вы, господинъ, лучше уходите. Потому какъ онъ армянинъ, такъ какъ бы отъ полиціи не влетѣло.
- Да гдф же проклятый армянинъ?—закричаль съ отчаяніемъ Саранинъ.—Изъ 43 номера.
- Нъть армянина,—отвъчаль дворникъ.—Быль, это точно, это скрывать не стану, а только что теперь нъть.
 - Да гдъ же онъ?
 - Уфхалъ.
 - Куда?-крикнуль Саранинь.
- Кто его знаеть, —равнодушно отвътиль дворникъ. Выправиль [заграничный паспорть, и уъхаль за границу.

Саранинъ поблёдивлъ.

— Пойми,—сказаль онь дрожащимь голосомь,—онь мив до заръзу нужень.

Заплакаль.

Дворинкъ участливо посмотрълъ на него. Сказалъ:

— Да вы, баринъ, не убивайтесь. Ужъ коли у васъ такая нужда есть до проклятаго армянина, то вы поёзжайте сами за границу, сходите тамъ въ адресный столъ, и найдете по адресу.

Саранинъ не сообразилъ нелъпости того что говорилъ дворникъ. Обрадовался.

Сейчасъ же побъжаль домой, влетъль ураганомъ въ домовую контору, и потребоваль отъ старшаго дворника, чтобы тоть немедленио выправиль ему заграничный паспорть. Но вдругъ вспомниль.

— Да куда-же ѣхать?

Проклятое снадобье дълало свое злое дъло съ роковою медлительностью, но неукловно. Саранинъ съ каждымъ днемъ становился меньше и меньше. Илатье сидъло мѣшкомъ.

Знакомые удивлялись. Говорили:

- Что вы поменьше, какъ о́удто? Каблуки перестали носить?
 - Да и похудъли.
 - Много занимаетесь.
 - Охота себя изводить.

Наконець при встръчахъ съ нимъ стали ахать:

— Да что это съ вами?

За глаза знакомые начали насмъхаться надъ Сара-

- Випль растеть.
- Стремится къ минимуму.

Жена замътила ифсколько позже. Все на глазахъ, постепенно мельчалъ, —было ни къ чему. Замътила по мъшковатому виду одежди.

Сначала хохотала надъ страннымъ уменьшеніемъ роста своего мужа. Потомъ стала сердиться.

— Это даже странно и неприлично, — говорила она, — неужели я вышла-бъ замужъ за такого лилипута!

Скоро пришлось перешивать всю одежду,—все старое валилось съ Саранина,—брюки доходили до ушей, а ципиндръ падалъ на плечи.

Старшій дворникь какъ-то зашель въ кухню.

- Что же это у васъ? строго спросиль онь кухарку.
 - Нешто это мое дъло, -запальчиво закричала было

толстая и красная Матрена, но тотчасъ же спохватилась, и сказала:

- У насъ, кажется, инчего такого ивть! Все какъ обыкновенно.
- А воть баринь у вась поступки началь обнаруживать, такъ это развъ можно? По-настоящему, его бы надо въ участокъ представить,—очень строго говориль дворникъ.

Цфиочка на его брюхф качалось сердито.

Матрена внезанно съда на сундукъ, и заплакала.

- Ужъ и не говорите, Сидоръ Навловичъ,—заговорила она,—просто мы съ барыней диву дались, что это съ нимъ,—ума не приложимъ.
- По какой причинъ? И на какомъ основани?—сердито восклицалъ дворникъ.—Такъ развъ можно?
- Только-то и утъщно, —вехлинывая, говорила кухарка, —корму меньше береть.

Дальше-меньше.

И прислуга, и портные, и вст, съ къмъ приходилось сталкиваться Саранину, начали относиться къ нему съ нескрываемымъ презръніемъ. Бъжить, бывало, на службу, маленькій, еле тащить объими руками громадный портфелище,—и слышить за собою злорадный смъхъ швейцара, дворника, извозчиковъ, мальчишекъ.

- Баринокъ, -- говорилъ старшій дворникъ.

Мпого испыталь Саранинъ горькаго. Потеряль обручальное кольцо. Жена сдълала ему сцену. Написала родителямь въ Москву.

"Проклятый армянинь!" — думаль Саранинь.

Вспоминалось часто: армянинь, отсчитивая капли, перелиль.

— Ухъ!-крикнулъ Саранинъ.

 Ничего, душа моя, это моя ошибка, я за это ничего не возьму.

Сходилъ Саранинъ и къ врачу, — тоть осмотръть его съ игривыми замъчаніями. Нашелъ, что все въ порядкъ.

Придеть, бывало, Саранинъ къ кому-нибудь,—швейцаръ не сразу внустить.

— Вы кто же такой будете?

Саранинъ скажеть.

— Не знаю, — говорить инвейцарь, — наши господа такихъ не принимають.

VI.

На службъ, въ департаментъ, сначала косились, смъялись. Особенно молодежь. Традицін сослуживцевъ Акакія Акакіевича Башмачкина живучи.

Потомь стали ворчать. Выговаривать.

Швейцаръ уже сталь снимать съ него пальто съ видимою неохотою.

— Тоже, чиновникъ пошелъ, — ворчалъ онъ, — мелюзга. Что съ такого получинь въ праздникъ?

И для поддержанія престижа Саранину приходилось давать на чай чаще и больше прежняго. Но это мало помогало. Швейцары брали деньги, но на Саранина смотръли подозрительно.

Саранинъ проговорился кое-кому изъ товарищей, что это армянинъ нагадиль. Слухъ объ армянской интригъ быстро разошелся по департаменту. Дошелъ и до иныхъ департаментовъ...

Директоръ департамента однажды встрътиль въ корридоръ маленькаго чиновника. Осмотрълъ удивленно. Ничего не сказалъ. Ушелъ къ себъ. Тогда сочли необходимымъ доложить. Директоръ спросилъ:

- Давно ли это?

Вице-директоръ замялея.

— Жаль, что вы не замътили своевременно,—кисло сказаль директоръ, не дожидаясь отвъта.—Странио, что я этого не зналъ. Очень жалъю.

Потребовать Сарашиа.

Когда Саранить исть въ кабинеть директора, всъ чиновники смотръди на него съ суровымъ осужденіемъ.

Съ трепетнымъ сердцемъ вошелъ Саранинъ въ кабинеть начальника. Слабая надежда еще не покидала его, надежда, что его превосходительство намъренъ дать ему весьма лестное порученіе, пользуясь малостью его роста: командировать на всемірную выставку, или по какомунибудь секретному порученію. По при первыхъ же звукахъ кислаго директорски-департаменскаго голоса эта надежда разсъялась, какъ дымъ.

— Сядьте здѣсь, —сказаль его превосходительство, показывая на стуль.

Саранинъ взобрался кое-какъ. Директоръ сердито посмотрълъ на болтнувшіяся въ воздухъ поги чиновника. Спросиль:

- Господниъ Саранинъ, извъстны ли вамъ законы о службъ гражданской по назначенію оть правительства?
- Ваше превосходительство,—залепеталь Саранинь, и молебно сложиль рученки на груди.
- Какъ осмълнинев вы столь дерако итти противъ видовъ правительства?
 - Повърьте, ваше превосходительство...
 - Зачъмъ вы это сдълали?-спросиль директоръ.

И уже не могь инчего сказать Саранниъ. Заплакалъ. Очень сталъ слезливъ за послъднее время.

Директоръ посмотрълъ на него. Покачалъ головою. Заговорилъ очень строго:

- Господинь Саранинь, я пригласиль вась, чтобы объявить вамь, что ваше исобъяснимое поведение становится совершенно истериимымь.
- Но, ваше превосходительство, я, кажется, все исправно,—ленеталь Саранинъ,—что же касается роста...
 - Да воть именно.
 - Но это несчастие не оть меня зависить.
- Не могу судить, насколько это странное и неприличное происшествіе является для вась несчастіемь, и насколько оно оть вась не зависить, но должень вамы сказать, что для ввъреннаго мить департамента ваше удивительное умаленіе становится положительно скандальнымы: уже ходять въ городъ соблазнительные служи. Не могу судить объ ихъ справедливости, но знаю, что эти слухи объясияють ваше поведеніе въ связи съ агитаціей армянскаго сепаратизма. Согласитесь, департаменть не можеть быть мъстомь развитія армянской интриги, направленной къ умаленію русской государственности. Мы не можемь держать чиновниковь, которые ведуть себя такъ странно.

Саранинъ соскочить со ступа, дрожать, инщать:

- Игра природы, ваше превосходительство.
- Странно, но служба...

II онять повториль тоть же вопросъ:

- Зачъмъ вы это сдълали?
- Ваше превосходительство, я самъ не знаю, какъ это произошло.
 - Что за инстинкты! Пользуясь малостью вашего ро-

ста, вы можете легко укрыться подъ всякою дамской, съ позволенія сказать, юбкой. Это не можеть быть терпимо.

- Я никогда этого не дълалъ,—завопилъ Саранинъ. Но директоръ не слушалъ. Продолжалъ:
- Я даже слышаль, что вы это дълаете изь сочувствія къ японцамь. Но надо же знать во всемъ границу.
- Какъ же я могу это дълать, ваше превосходительство?
- Не знаю-съ. Но прошу прекратить. Оставить васъ на службъ можно, но только въ провинціи, и чтобы это было немедленно же прекращено, чтобы вы вернулись къ вашимъ обычнымъ размърамъ. Для поправленія вашего здоровья вамъ дается четырехмъсячный отпускъ. Въ департаментъ прошу васъ болье не являться. Необходимыя для васъ бумаги будуть вамъ присланы на домъ. Мое почтеніе.
- Ваше превосходительство, я могу заниматься. Зачъмъ же отпускъ!
 - Возьмете по болъзии.
 - Но я здоровъ, ваше превосходительство.
 - Нъть ужь, пожалуйста.

Саранину дали отпускъ на четыре мъсяца.

VII.

Скоро Агланны родители прівхали. Было это послів об'єда. Аглая за об'єдомь долго издівалась надъ мужемь. Ушла къ себів.

Онъ робко прошелъ въ свой кабинеть, — такой теперь для него огромный, — вскарабкался на диванъ, приникъ къ уголку, заплакалъ. Тягостное недоумъніе томило его.

Почему именно на него обрушилось такое несчастіе? Ужасное, неслыханное.

Какое легкомысліе!

Онъ всхлинываль, и шенталь отчаянно:

— Зачъмъ, зачъмъ я это сдълаль?

Вдругъ услышаль въ передней знакомые голоса. Задрожаль отъ страха. На цыночкахъ прокрался къ умывальнику,—не замътили бы заплаканныхъ глазъ. И умыться-то было трудпо,—припилось подставлять стулъ.

Уже гости входили въ залу. Саранинъ встрътилъ ихъ. Раскланивался и инщалъ что-то неразборчивое. Агланнъ отецъ тупо смотръль на него вытаращенными глазами. Больной, толстый, съ бычьею шеею и краснымъ лицомъ. Аглая въ него.

Ностоявъ передъ зятемъ, широко разставивъ ноги, онъ осмотрълся осторожно, бережно взялъ руку Саранина, принагнулся и сказалъ, понижая голосъ:

— Мы къ вамъ, зятекъ, пріъхали повидаться.

Видно было, что опъ намъренъ вести себя политично. Нащупывалъ почву.

Изъ-за его спины выдвинулась Агланна мать, особа тощая и злобная. Она закричала визгливо:

— Гдв онъ? гдв? покажи мив его, Аглая, покажи мив этого Пигмаліона.

Она смотрѣла поверхъ Саранина. Нарочно не замъчала. Цвѣты на ея шлягѣ странно колыхались. Она шла прямо на Саранина. Онъ пискнулъ и отскочилъ въ сторону.

Аглая заплакала и сказала:

- Воть онь, маменька.
- Я здъсь, маменька,—пискнулъ Саранинъ, и шаркнулъ ногою.

— Злодый, да что ты съ собой сдылаль? Зачымь ты такь окорнался?

Горничная фыркала.

— А ты, матушка, на господъ не фыркай.

Аглая покрасивла.

- Маменька, пойдемте въ гостиную.
- Нъть, ты скажи, элодъй, на какой конецъ ты этакъ малявишься?
 - Ну, ты, мать, погоди,—остановиль ее отець. Она и на мужа вскинулась.
 - Въдь говорила я тебъ, не выдавай за безбородаго. Воть, по-моему и вишло.

Отець осторожно поглядываль на Саранина, и все пытался перевести разговорь на политику.

— Японцы,—говориль онь,—приблизительно не высокаго роста, а повидимому мозговатый народь, и даже, между прочимъ, оборотистый.

VIII.

И сталъ Саранинъ маленькій, маленькій. Ужъ онъ свободно ходиль подъ столомъ. И съ каждимъ днемь становился все мельче. Отпускомъ онъ еще не воспользовался вполнъ. Только что на службу не ходилъ. А тъхать куда-нибудь еще не собрались.

Аглая то издівалась надъ нимъ, то плакала и говорила:

— Куда я тебя такого повезу? Стыдъ и срамъ.

Пройтись изъ кабинета въ столовую—стало путемъ весьма солидныхъ размъровъ. Да еще на стулъ взлъзть...

Впрочемъ, усталость была сама по себъ пріятна. Оть нея аппетить являлся и надежда вырасти. Саранинъ набрасывался на пищу. Пожирать ее непропорціональ-

но своимь миніатюрнымь размърамь. Но не рось. Напротивъ—все мельчалъ и мельчалъ. Хуже всего, что уменьшение роста иногда происходило скачками, въ самое неудобное время. Словно фокусы показывалъ.

Аглая подумывала было выдавать его за мальчика, опредълить въ гимназію. Отправилась въ бликайнную. Но разговоръ съ директоромъ обезкуражилъ ее.

Потребовались документы. Оказалось, что планъ неосуществимъ.

Съ видомъ крайняго недоумбнія директоръ говориль Аглаф:

— Мы не можемъ принять надворнаго совътника. Какъ же мы съ нимъ будемь? Ему учитель велить въ уголъ итти, а онъ скажетъ: я — кавалеръ святой Анны. Это очень неудобно.

Аглая сдълала просящее лицо, и принялась было упрашивать.

— Нельзя ли какъ-нибудь устроить? Онъ не посмъеть дерзить, —ужъ я объ этомъ позабочусь.

Директоръ остался непреклоненъ.

— Нъть, — говориль онъ упрямо, — нельзя чиновника принять въ гимназію. Нигдѣ, ни однимъ циркуляромъ не предусмотрѣно. И входить къ начальству съ такимъ представленіемъ совершенно неудобно. Какъ еще тамъ посмотрять. Могутъ выйти большія непріятности. Нѣтъ, никакъ нельзя. Обратитесь, если желаете, къпопечителю

Но Аглая уже не ръзнилась бхать къ начальству.

IX.

Однажды къ Аглав пришелъ молодой человвкъ, очень гладко, до блеску, причесанный. Расшаркался весьма галантно. Отрекомендовался:

— Представитель фирмы Стригаль и К°. Первоклассный магазинь въ самомъ бойкомъ центръ столичнаго аристократическаго движенія. Имъемъ массу заказчиковъ въ самомъ лучшемъ и высшемъ обществъ.

Аглая на всякій случай сділала глазки представителю знаменитой фирмы. Томнымь движеніемь дебелой руки указала ему на стуль. Сізла спиною къ світу. Склонила голову на бокъ. Приготовилась слушать.

Блистательно причесанный молодой человъкъ продолжаль:

- Мы узнали, что вашь супругь изволиль предпочесть оригинально миніатюрный рость. Поэтому фирма, идя навстрівчу самоновійшимь візніямь вь области дамскихь и мужскихь модь, иміветь честь предложить вамь, сударыня, въ видахъ рекламы, безплатно шить господину костюмы по самому лучшему парижскому журналу.
 - Даромъ?-лъниво спросила Аглая.
- Не только даромъ, сударыня, но даже съ приплатой въ вашу собственно пользу, но съ однимъ маленькимъ и легко выполнимымъ условіемъ.

Межъ тъмъ Саранинъ, прослыша, что рѣчь о немъ, пробрался въ гостиную. Расхаживалъ около молодого человѣка съ блистательною прическою. Покашливалъ, постукивалъ каблучками. Очень досадовалъ, что представитель фирмы Стригаль и Ко не обращаетъ на него ни малѣйшаго вниманія.

Наконець онь подоъжаль къ молодому человъку. Громко пискнуль:

- Развъ вамъ не сказали, что я дома?

Представитель знаменитой фирмы всталь. Галантно шаркнуль. Сёль. Обратился къ Аглав:

- Одно только маленькое условіе.

Саранинъ презрительно фыркнулъ. Аглая засмъялась. Сказала, блистая любопытными глазами:

- Ну, говорите, какое условіе.
- Условіе наше въ томъ, чтобы господинъ изволилъ сидъть за окномь нашего магазина въ качествъ живой рекламы.

Аглая злорадно захохотала.

- Отлично. Хоть бы съ глазъ его долой.
- Я не согласень, —произительнымъ голосомъ запищалъ Саранинъ. —Я не могу пойти на это. Я—надворный совътникъ и кавалеръ. Сидъть въ окит магазина для реклами—это мит даже смъщно.
 - Замолчи, -- крикнула Аглая, -- тебя не спранцивають.
- Какъ не спрашивають?—завопилъ Саранинъ.— Долго ли я буду терпъть отъ инородцевъ!
- Ну, и господинъ ошибается!—любезно возразилъ молодой человъкъ.—Наша фирма не имъетъ ничего общаго съ инородческими элементами. У насъ служатъ все православные и лютеране изъ Риги. И у насъ нътъ свреевъ.
- Я не хочу сидъть въ окнъ!—кричалъ Саранинъ. Топалъ ногами. Аглая схватила его за руку. Повлекла въ спальню.
- Куда ты меня тащишь? кричалъ Саранинъ, я не хочу, отпусти.
 - Я тебя усмирю, крикнула Аглая.

Замкнула дверь.

— Изобью!—сказала она сквозь зубы.

Принялась колотить. Безсильно барахтался въ ея могучихъ рукахъ.

- Ты, пигмей, въ моей власти. Что захочу, то и

сдълаю. Я тебя въ карманъ могу засунуть, —какъ же ты смъещь мнъ противиться! Я не посмотрю на твои чины, я тебя такъ взбучу, что тебъ небо съ овчинку покажется.

— Я буду жаловаться!—пищаль Саранинь.

Но скоро понять безпелезность сопротивленія. Быль слишкомь маль,—и Аглая, очевидно, рѣшила пустить въ дѣло всю свою силу.

— Будеть, будеть,—завопиль онь,—иду въ Стригальское окно. Буду тамъ сидъть,—тебъ же срамъ. Надъну всъ свои регаліи.

Аглая захохотала.

— Ты надънешь то, что тебъ Стригаль дасть,— крикнула она.

Выволокла мужа въ гостиную. Бросила его приказчику. Крикнула:

— Берите! сейчась же возьмите его! И деньги впередь! Каждый мъсяцъ!

Ея слова были истеричными вскриками.

Молодой человъкъ вытащилъ бумажникъ. Отсчиталъ двъсти рублей.

— Мало!-крикнула Аглая.

Молодой человъкъ улыбнулся. Досталъ еще сторублевку.

— Больше-съ не уполномоченъ, — любезно сказалъ онъ. — Черезъ мъсяцъ изволите получить слъдующий взносъ.

Саранинъ бъгалъ по комнатъ.

— Въ окно! въ окно!—выкрикивалъ онъ.—Проклятый армянинъ, что ты со мной сдёлалъ?

А самъ вдругъ еще вершка на два осътъ.

Безсильныя слезы, теска Саранина,—что до этого Стригалю и его компаніонамъ?

Они заплатили. Они осуществляють свое право. Жестокое право капитала.

Подъ властью капитала самъ надворный совътникъ и кавалеръ занимаетъ положеніе, вполнѣ соотвѣтствующее его точнымъ размѣрамъ, и нисколько не отвѣчающее его гордости. По послѣдней модѣ одѣтый лилипутъ бѣгаетъ въ окнѣ моднаго магазина,—то засмотрится на красавицъ,—такихъ колоссальныхъ!—то злобно грозить кулачками смѣющимся ребятамъ.

У оконь Стригаля и Ко толпа.

Въ магазинъ Стригаля и К° приказчики сбились съ ногъ.

Мастерская Стригаля и Ко завалена заказами.

Стригаль и Ко въ славъ.

Стригаль и К° распиряють мастерскія.

Стригаль и Ко богаты.

Стригаль и Ко покупають дома.

Стригаль и К^о великодушны: они кормять Саранина по-царски, они не жалъють денегь для его жены.

Аглая получаеть уже по тысячь въ мъсяцъ.

У Аглан завелись и еще доходы.

II знакомства.

И любовники.

И брилліанты.

И экипажи.

И домъ.

Аглая весела и довольна. Она раздобрѣла еще больше Носить башмаки на высокихъ каблукахъ. Выбираетъ шляпки гигантскихъ размѣровъ. Посъщая мужа, она ласкаеть его и кормить, какъ птицу, съ пальца. Саранинъ во фракъ съ куцыми фалдочками дробными шагами бъгаетъ передъ нею по столу, и пищить что-то. Голосъ его пронзителенъ, какъ комариный пискъ. Но слова не слышны.

Маленькіе людишки могуть говорить,—но ихъ пискъ не слышенъ людямъ большихъ размъровъ, ни Аглаъ, ни Стригалю, ни всей компаніи. Аглая, окруженная приказчиками, слушаеть визгъ и пискъ человъка. Хохочетъ. Уходитъ.

Саранина несуть на окно, гдф, въ гнъздъ мягкихъ матерій, ему устроена цълая квартира, обращенная къ публикъ открытою стороною.

Уличные мальчишки видять, какъ человъчишка садится къ столу и принимается писать прошенія. Крохотныя прошеньица о возстановленіи своихъ нарушенныхъ Агласю, Стригалемъ и Ко правъ.

Пишеть. Суеть въ конвертикъ. Мальчишки хохочуть. Между тъмъ Аглая садится въ свой блистательный экипажъ. Вдеть покататься передъ объдомъ.

XI.

Ни Аглая, ни Стригаль и Ко не думали о томъ, чъмъ все кончится. Они довольны были настоящимъ. Казалось, что и конца не будеть золотому дождю, льющемуся на нихъ. Но конець наступилъ. Самый обыкновенный. Какого и слъдовало ждать.

Саранинъ все меньшалъ. Каждый день ему шили по нъсколько новыхъ костюмовъ,—все меньше.

И вдругь онъ, на глазахъ удивленныхъ приказчиковъ, только что надъвъ новые брючки, сталъ совсъмъ крохотнымъ. Вывалился изъ брючекъ. И уже сталъ, какъ булавочная головка.

Подулъ легкій сквознячекъ. Саранинъ, крохотный, какъ пылинка, поднялся въ воздухъ. Закружился. Смъшался съ тучею пляшущихъ въ солнечномъ лучъ пылинокъ.

Исчезъ.

Вет поиски были напрасны. Не нашелся нигдъ Саранинъ.

Аглая, Стригаль и К°, полиція, духовенство, начальство,—всѣ были въ большомъ недоумѣніи.

Какъ оформить исчезновение Саранина?

Наконецъ, по сношенію съ Академією Наукъ, рѣшили считать его посланнымъ въ командировку съ научною цѣлью.

Потомъ о немъ забыли. Саранинъ кончился.

РОЖДЕСТВЕНСКІЙ МАЛЬЧИКЪ.



Пусторослевъ наконецъ остался одинъ.

Столько усталости! Цълый день встръчь и разговоровъ. Жгучія, волнующія темы. Заботы и хлопоти о дълъ, которое такъ взяло все время.

Такъ взяло все время, что теперь, въ минуту отдыха, вдругъ не хочется думать о немъ. Усталость обволакиваетъ всъ чувства липкою пеленою. Глаза не хотять глядъть.

Прилегъ на диванъ. На письменномъ столѣ стынетъ недопитый стаканъ чаю. Блѣдное, нервное лицо склонилось. На темно-красной подушкѣ оно кажется особенно блѣднымъ и худымъ.

Припомнилась далекая Сибирь. Подневольное житье въ ней. Лютые морозы. Земля, которая и лѣтомъ не оттаивала глубоко. Товарищи суровой ссылки. Долгія, долгія ночи. И такой мракъ, и такой холодъ!

Захотълось безопасности, уюта, семьи. Услышать дѣтскій лепеть въ этой квартирѣ, слишкомъ большой и слишкомъ богатой для одного,—и робкія упражненія на рояли,—и внезапный смѣхъ.

Подумаль:

"Развъ съ меня не довольно? Пусть работають другіе". И улыбка. Конечно, пусть другіе.

И сразу же зналь, что это-такъ только.

Нѣть, уже не оторваться отъ дѣла... Опять тонкая дремота. И вдругь легкіе шаги. Встрепенулся. Открыль глаза. Никого пѣть.

Странно,—въ послъднее время Пусторослевъ не разъ замъчалъ, въ минуты усталости и отдыха, что онъ не одинъ. Чъи-то легкіе шаги шуршали по полу недалеко отъ него,—словно кто-то маленькій тихонько проходилъ мимо него, осторожно, босыми ногами. Маленькій, едва достигавшій головою до дивана. Подходилъ, всматривался, поднимая прекрасное нездъпнее лицо. Прислушивался. Говорилъ что-то тихое, и странно внятное. Звалъ куда-то.

Но стоило открыть глаза,—и странный поститель съ легкимт, шорохомь скрывался. И уже казалось, что и не было его.

Сначала Пусторослевь не думаль объ этихъ посъщенияхъ. Мало ли что приснится или покажется въминуты тоски и усталости.

Но воть уже нъсколько двей подрядъ маленькій гость сталь занимать вниманіе Пусторослева.

Прежде онъ приходилъ изръдка. Теперь — каждый вечеръ. И Пусторослевъ уже началъ ждать его.

Въ невърномъ, мертвомъ и неподвижномъ свътъ электрической лампы онъ приходилъ, легкій, маленькій. И шаги его становились слышнье,— словно онъ уже выросъ, сталъ смълъе и ръшительнъе.

Прежде онъ подкрадывался на цыпочкахъ,— а откроешь глаза,— онъ укатывался куда-то дробными шагами, какъ испуганный мышенокъ, и не разобрать было, куда онъ убъжалъ. Теперь онъ приходиль неторопливо, и слышно было, какъ легко, спокойно и увфренно ступають на паркетъ его ноги. И Пусторослевъ не рфигался еще очень быстро открыть глаза. Тотъ, ночной, уходилъ не торопясь, и Пусторослевъ наконець примътилъ, куда онъ уходитъ.

Это было мѣсто на стѣнѣ. Самое обыкновенное на невнимательный взглядъ. Немного ниже и наискось того мѣста, гдѣ, въ черной рамѣ, висѣла гравюра, Мона Лиза. Между двухъ стульевъ. Узоръ обоевъ ничъмъ, повидимому, не отличался. Но было какое-то странное и значительное выраженіе въ этихъ зеленоватыхъ странныхъ цвѣтахъ.

И, когда Пусторослевь долго всматривался въ узоръ, ему вдругъ начинало казаться, что это мѣсто на стънъ чѣмъ-то обведено, словно за нимъ скрывается тайная дверь.

Лежаль, закрывь глаза. Оть лампы на столь поодаль падали неподвижныя пятна свъта на тонкое лицо. Услышаль легкіе шаги. Маленькій посьтитель подошель, всматривался, и чего-то ждаль. И вь этомь ожидающемь стояніи неизвъстнаго посьтителя было что-то жуткое, тоскливое, вынуждающее къ чему-то.

"Что-то надо сказать, или сдълать", — подумаль Пусторослевъ.

Онъ слегка пріоткрыль глаза,—и замерь оть жуткаго и сладкаго ужаса. Передъ нимь стояль мальчикь, лѣть десяти на видь, весь бѣлый, тонкій и сіяющій. На блѣдномь, точно неживомь лицѣ жутко мерцали черные, страшно глубокіе глаза. Одежда странйаго покроя, вся бѣлая, открывала тонкую, длинную шею, и открыты были выше кольнъ стройныя, тонкія ноги. И весь онь быль спокойный и словно неживой, и только черные

на блъдномъ лицъ глаза жили и настойчиво вопрошали.

Мигъ одинъ длилось видъніе,— и скрылось. Пусторослевъ открылъ глаза, быстро всталь, двинулся къ мальчику, протянуль руки,—но мальчика уже не было.

— Милый! кто же ты? гдф же ты?— воскликнуль Пусторослевъ.

Стало тихо. Ожиданіемъ была растворена типина.

И вдругъ,—тихій, сладкій и звонкій раздался см'яхъ. Пронесся въ зыбкой тишинъ,—и замеръ.

И Пусторослевъ вдругь почувствоваль, что онъ остался одинъ.

Одинъ! Никогда еще съ такою значительностью не представало предъ нимъ это столь страшное, столь великое, столь непонятое людьми слово.

Одиночество, сладостное и несравненное, великій праздникъ для великой и надменной души, великое томленіе для вопрошающаго человъка!

И въ этоть мигь больно почувствоваль Пусторослевь, что онъ только человъкъ, вопрошающій о неизвъстномъ. Въ странномъ порывъ тоски подошель онъ къ тому мъсту на стънъ, гдъ подъ холодною и таинственною улыбкою Джіоконды таилась дивная дверь,— и странныя слова какь бы сами собою родились на его устахъ:

— II ты хочешь быть человъкомъ? Зачъмъ? Что тебъ въ нашемъ бъдномъ существованіи?

II тихій голось отв'єтиль почти беззвучно, но странно внятно:

— Я хочу.

"Бѣдные, разстроенные нервы, — думалъ на другое утро Пусторослевъ.—Надо увхать изъ этого жуткаго и жестокаго города".

Но, когда онъ одъвался, въ невърномъ и слабомъ свъть съвернаго ранняго утра прошелъ мимо него тихими и легкими шагами бълый, весь бълый и спокойный мальчикъ, и сказалъ тихонько старыя, странно земныя и трогательныя слова:

- Голодине. Дъти. Трупики.
- Что?-въ ужасъ спросиль Пусторослевъ.

И въ тишинъ послышались еще болъе простня и земныя слова:

— На гривенникъ молока.

Кратко и жутко промелькнуль, едва возникъ и уже клонился къ закату морозный день. На Певскомъ зажитались фонари. Украдкой. Никто не видъль, какъ они вспыхнули. И свъть ихъ быль ясный и безпокойный.

На перекресткъ двухъ шумныхъ улицъ, остановившись на минуту переждать толчею экипажей, Пусторослевъ увидълъ поэта-декадента, Приклонскаго. Медленною, развинченною походкою Приклонскій подошелъ къ Пусторослеву, и молча пожалъ ему руку.

Пусторослевъ не любилъ Приклонскаго. Считалъ его шарлатаномъ. Въ этомъ смыслѣ высказывался кое-гдѣ. До Приклонскаго, очевидно, дошли рѣзкіе отзывы Пусторослева. Какъ-то, встрѣтясь на одномъ изъ тѣхъ вечеровъ, гдѣ всѣ бывають и гдѣ всѣмъ бываетъ скучно, Приклонскій подошелъ къ Пусторослеву, и безъ всякаго повода началъ разсказывать, по обычаю своему, очень нарадоксально, что всѣ писатели раздѣляются на два разряда: диллетанты и шарлатаны. Пусторослеву стало неловко. Съ тѣхъ поръ чувство неловкости всегда охватывало Пусторослева, когда онъ встрѣчался съ Приклонскимъ. Странные, опьяненно-веселые и невнимательщие глаза Приклонскаго наводили на Пусторослева тоску.

Но тенерь Пусторослевь обрадовался этой встръчь.

— Приключеніе по вашей части,—сказаль онь, стараясь говорить иронично, и вдругь чувствуя съ досадою, что это ему не удается.

И онъ разсказаль о бъломь мальчикъ. Досадно было, что разсказъ выходить въ сбивающемся тонъ.

— Призраки держать себя странно,—закончиль онь, вмъсто откровеній о загробномь міръ какой-то дътскій и совершенно земной ленеть.

Приклонскій выслушаль такъ спокойно, какъ разсказь о самомъ обыкновенномъ событіи.

- Что васъ удивляеть?—спросиль онъ.—Земное не ниже и не хуже небеснаго. Между этимъ и тъмъ міромъ не такое соотношеніе, что одно хуже, а другое лучше. Плоть такъ же свята, какъ и духъ.
- Но "на гривенникъ молока", это все же слишкомъ прозаично, — возразилъ Пусторослевъ.

Приклонскій помолчаль, спокойно посмотрівль на него, и заговориль, какъ бы отвівчая на какія-то другія, боліве интересныя слова:

— Мы живемь среди природы, которая вся насквозь проникнута стремленіемь къ жизни. Тысячельтія тому назадь волевая энергія природы была такъ велика, что возникли безчисленныя разновидности жизни на земль. Теперь энергія природы принимаеть иной характерь: природа стремится не только къ бытію,—она стремится къ тому, чтобы осознать себя. Насъ окружаеть страстное желаніе не только быть, но быть самымъ сознательнымъ,—быть человъкомъ, и болье, чъмъ человъкомъ. Тъ домашнія маленькія нежити, которыхъ вы давно чувствовали вокругь себя, настойчиво стучались въ двери вашего сознанія. Вамъ надлежить теперь отдаться съ довърчи-

востью тому приключенію, которое вась ожидаеть. Онть вась не обмануть. По крайней мърт, смъло можно утверждать, что онт не сдълають съ вами ничего такого, возможности чего не заложены въ васъ самихъ.

Повидимому, Приклонскій собирался говорить еще долго. Но въ легкомъ дрожаніи его губъ, которое придавало его некрасивому преждевременно увядшему лицу ироническое выраженіе, Пусторослеву почудилось желаніе мистифицировать его. Онъ началь слушать разстянно, и наконецъ сказаль:

- Просто нервы у меня не въ порядкъ.
- Просто, неопредъленнымъ тономъ повторилъ Приклонскій.

Онять длился вечерь, холодный, скучный, одинокій, и онь казался нескончаемымь и ненужнымь. Никуда не пошель Пусторослевь, хотя его ждали въ одномь мъсть, и самь онь въ другое время охотно поъхаль бы туда. Въ другое время. Но теперь что-то удерживало Пусторослева, и странное ожиданіе томило его больно и жутко.

Длился, томительно длился вечерь, — и все было обычно и скучно, и буднично, какъ всегда, —и уже казалось, что ничего нъть и не будеть, кромъ того, что бываеть обыкновенно. Ни чуда, ни явленій изъ иного міра, близкаго и въчно загадочнаго, страшнаго и желаннаго.

И опять усталость одольла Пусторослева. Онъ легь, взяль книгу, чтобы скоротать время до того часа, когда можно лечь въ постель.

Опустиль книгу, докучную, ненужную. Закрыль глаза...

И какъ онъ могъ не замътить раньше? Всегда здъсь съ нимъ кто-то, вопрошающій, неотступный. Чего онъ хочеть?

Пусторослевъ сказалъ тихо, не открывая глазъ:

— Скажи мив, чего ты хочешь, и гдв ты, и кто ты. Скажи мив о себв,—и я сдвлаю все, чего ты хочешь, и пойду за тобою.

Легкіе шаги послышались. Таинственный гость подошель и сталь у изголовья сзади. Такъ близко,—протянуть только руку, и коснешься его. Такъ близко, и такъ далеко.

Пусторослевъ повернулся на бокъ, двинулъ руку туда, къ изголовью, — и вдругъ услышалъ тихія, тревожныя слова:

— Не гляди. Не тронь. Рано.

Пусторослевъ опять легь спокойно, на спину, закрыль глаза, и слушалъ.

Послышался нъжный голосъ бълаго мальчика:

— Если бы я жилъ!

И въ этомъ краткомъ восклицаніи было столько призивной тоски, такая жажда жизни достойной и доблестной, такой порывъ наполнить огнемъ святой борьбы минуты жизни, что Пусторослевъ почувствоваль, какъ душа его зажглась давно уже ненспытаннымъ восторгомъ.

Онъ всталъ. Быстро подошелъ къ тому мѣсту, гдѣ чудилась ему въ стѣнѣ дивная дверь. Не думалъ о ней,— какъ-то мимовольно подошелъ именно къ ней. Остановился. Ждалъ. И весь дрожалъ.

Какъ тихое дуновеніе легкаго вътра, мимо него прошель бълый мальчикъ, зыбкій, едва видимый. Открылась тайная въ стънъ дверь. За нею—узкій, темный проходъ. И Пусторослевъ безъ колебанія пошель за мальчикомъ въ неизвъстный путь...

Были тогда безпокойные дни. Рабочіе голодали, не

шли на работы. Было много солдать и казаковь. Иногда на улицахь убивали.

Дологь быль путь; но какъ-то странно Пусторослевь не замфчаль его. Наконець онь увидфль, что стоить на дворф деревяннаго стараго дома. Подъ воротами горфль фонарь, и если глядфть въ ту сторону долго, то послф на дворф казалось еще темифе и холодифе. Пусторослевь быль одинь. Ждаль. Кто-то тихій и легкій промелькнуль мимо него, и скрылся.

- Куда же итти?-спросиль Пусторослевь.

И уже послъ того онъ увидъль дворника. Молодой, длинный и тощій парець съ рыжими, жесткими волосами, которыхъ было такъ много, что они, казалось, приподнимали шапку-блинъ.

— Да вамъ кого? — спросиль онъ простуженнымъ и аганивымъ голосомъ.

Пусторослевь сказаль фамилію; — казалось ему, что она случайно пришла ему въ голову:

- Елизаровъ здъсь?
- А вонъ но той лъстницъ, въ четвертый этажъ,— отвътиль дворникъ.

Какъ во снъ, прошли передъ Пусторослевымь жуткія впечатлівнія: смрадная квартира; много угрюмыхъ, словно голодныхъ людей. Подъ образами—мертвая женщина. Мальчикъ, сынъ мертвой. Тощій, грязный, уродливый, и страшно и странно похожій на того мальчика, который приходиль къ Пусторослеву по вечерамъ.

Мальчикъ остался одинъ. Родныхъ не было. Пусторослевъ взялъ его. Жадные, голодные глаза глядъли за нимъ, когда онъ уводилъ ребенка.

И все это промелькнуло такъ быстро, и все это казалось Пусторослеву сномъ до тъхъ поръ, пока онъ не очутился дома. Паташа, его чинная и строгая служанка, сердито поморщилась, когда Пусторослевы объявиль ей, чторебенка онъ взяль, и что его надо устроить.

— За два часа не отмоень, -- ворчала она.

На другое утро Пусторослевь заказаль мальчику бълую одежду того покроя, который онь видъль на своемь таинственномь посътителъ. Заплатилъ, не торгуясь, такъ щедро, что, несмотря на предпраздничную спъщку, одежда къ вечеру была готова.

И когда вечеромъ, тщательно вымытый, выстриженный, тонкій, бълый, съ горящими черными глазами, въ короткой бълой одеждъ, оставляющей ноги голыми, необутый мальчикъ тихо подошель къ Пусторослеву, стало Пусторослеву жутко,—такъ похожъ быль этотъ мальчуганъ на того, вечерняго и таинственнаго.

- Ты откуда, Гриша?-спросиль Пусторослевь.

Мальчикъ неловко дернулъ илечомъ, потеребилъ тонкими пальчиками складки своего наряда, и отвътилъ:

— Изъ фабричныхъ.

Помодчаль. Потомъ сказаль по-ребячески плаксиво:

- Утромъ съ Наташей вздили, маму хоронили. Отецъ лътомъ померъ, теперь мама померла,—просто хоть ложись да помирай.
 - Теперь ты мой будень, сказаль Пусторослевь. Мальчикъ помолчаль, потупился, шепнуль тихонько: Спасибо.

Мальчикъ былъ тихій, но неробкій. Онъ дичился постороннихъ, старался уйти, когда кто-нибудь приходиль, но ужъ если его останавливали, то онъ отвъчалъ на вопросы прямо и просто, съ эпическимъ спокойствіемъ первобытнаго существа. Наступали праздники. Пусторослевь сділаль для Гринн елку. Позваль діятей. Было человікь десять маленькихь гостей, біздные и богатые. Было весело и шумно. Пусторослева радоваль Гришинь сміхъ, но ему жутко было глядіть въ его внимательные, слишкомь черные, слишкомь глубокіє глаза.

На утро онъ спросилъ:

- Гриша, скажи, поправилась тебъ вчера елка?

Гриша, по своей привычкъ, помолчалъ немного, теребя складки своего наряда, и потомъ сказалъ странно спокойнымъ голосомъ:

- Елка—очень хорошо. Славно. А ребятишки у васъ скверные были.
- Тъмъ скверные?—съ удивленіемъ спросиль Пусторослевъ.

Гриша заговориль поживъе:

— А какъ же, —они себя различають. Которые богатые считаются, тъ такъ свысока, а которые бъдные, то такіе завидущіе, и все они завидують, и такъ у нихъ на все глаза и горять. Все бы имъ отдать, да и то бы имъ мало было. Право слово, завидущіе.

Часто разговаривали Пусторослевь съ Гришею. Каждый вечерь. И каждый разъ Пусторослевъ зваль къ себъ Гришу съ такимъ жуткимъ чувствомъ, какъ будто бы онъ и ждалъ отъ него, и боялся какихъ-то странныхъ и страшныхъ словъ.

"Знаеть-ли Гриша того, ночного?—думаль иногда Пусторослевь.—Не спросить ли его? Но какъ спросить?"

И наконецъ спросилъ:

- Гриша, ты у меня быль раньше?

Мальчикъ поблъднълъ еще больше, и казалось, что онъ вдругъ испугался. Робко шепнулъ онъ:

— А ты почемъ знаешь?

Пусторослевь закрыль глаза. Голова его кружилась жутко и томно.

А Гриша говорилъ:

- Я-то у тебя быль. Во сий. Вижу я, сидить такой баринь за столомь, и крипко думаеть. А лица не видно. И такь показываеть, будто и вовсе лица инть. Но только это невфрио. Теперь-то я узналь, все какъ у тебя, и столь, и лампа, все, какъ есть.
 - Гриша, зачѣмъ же ты ко миъ приходилъ? Гриша вздохнулъ.
- Ну воть, —разсказываль онь, —вижу, сидить будто баринь, а лица не видно. А я и говорю: баринь, а баринь, нешто намь весь въкъ голодать однимъ. Пойдемъ помирать вмъсть. А баринь ничего не говорить. Все думаеть. Ну, я и уйду. А послъ того мама захворала. Померла. А послъ того и ты меня взяль.
- Гриша, зачъмь ты меня звалъ?—съ тоскою спросиль Пусторослевъ.

Гриша засм'вялся. Какъ тоть, ночной. Такой же зыбкій и быстрый см'вхъ. Точно быстрый плачь. Такой ясный см'вхъ, и такой невеселый.

— А какъ же?—страстно заговорилъ Гриша,—отчего такъ? Почему, скажи, за что намъ такое житье собачье? Развъ для того мы на землъ живемъ, чтобы другъ друга поъдомъ ъсть? За что? И если онъ насильничаетъ, такъ все и терпъть безъ конца?

Пусторослевъ глядълъ на черные, пламенные Гришины глаза, на его блъдное, худое и такое прекрасное лицо. Жутко было ему. А Гриша говорилъ:

- Пойти бы всъмь вмъстъ, дошли бы до такого мъста, гдъ земля новая, и небо новое, и левъ свиръцый не кусаеть, и змъйка-скоропейка не жалить. Да нътъ намъ свободы, никуда не пойдешь.
- Гриша, откуда ты набрался словъ? спросиль Пусторослевъ.

Ему хотблось разрушить это темное очарованіе, которое такъ долго держало его въ своей власти.

Гриша слегка покрасиблъ.

— Можеть быть, я глупости говорю. Не знаю. Что оть людей услышишь, что самь придумаешь. Ты думаешь, что ты баринь, такъ ты одинъ думаешь? Я тоже люблю думать. Только, что я тебъ скажу.

Гриша пріумолкъ.

- Скажи, Гриша.
- Если бы я все это дъло зналь, ни за что бы я не захотъль быть человъкомъ.

Были не разъ такіе странные и не совсьмъ дътскіе разговоры. На утро Пусторослеву казалось, что этого Гриша не говориль, что всѣ эти слова ему пригрезились въ дремотѣ поздняго вечера, въ усталой дремотѣ вопрошающаго и не находящаго отвъта человъка.

И самъ Гриша днемъ бывать совствъ простымь и обыкновеннымъ мальчикомъ, съ самыми простыми мальчишескими затъями и интересами. Только тихій очень и скромный, и очень худенькій. И когда вспоминать покойныхъ родителей, то иногда поплачеть. А когда говорили при немъ о фабричныхъ рабочихъ, онъ дълался печальнымъ и хмурымъ, и начиналъ дрожать, и тихо уходилъ.

Тамъ, у гроба матери, онъ казался лохматимъ, взъе-

рошеннымь и уродиивымь. Но на самомь дъль онь быль скорбе красивь. Только очень ужь худъ.

И хорошо было то, что у него не много было непріятныхъ привычекъ. Или, можеть быть, онъ быль такой тихій и внимательный, что самъ скоро замѣчаль, чего здѣсь не слѣдуеть дълать.

Приближались великіе дни. Сладостное вѣяніе свободы носилось надъ городами и темными селеніями нашей родины. Созръло негодованіе, и въ его бурномъ дыханіи отогрълась пъжная надежда, такъ долго таившаяся подъ равнодушнымъ и безпощаднымъ сибсомъ.

Гриша прищель вечеромь къ Пусторослеву. Видно было, что онъ хочеть что-то сказать.

- Гриша, что ты?-спросиль Пусторослевъ.

Гриша помолчаль. Покрасивль.

Такъ покрасиблъ, какъ никогда еще не видълъ у него Пусторослевъ. Сказалъ звенящимъ и ръшительнымъ голосомъ:

— Наши завтра пойдуть. И я пойду.

Пусторослевъ испугался.

— Гриша, куда ты пойдешь? Что за глупости!—досадливо крикнуль онъ.—Что тебъ тамъ дълать, такому маленькому?

Гришины глаза горъли, и щеки багряно пылади.

- Пойду,-тихо, но ръшительно сказать онъ.

Пусторослевъ поняль, что не надо спорить.

— Гриша,—сказаль онъ успокоительно,—утро вечера мудренте. Мы объ этомъ лучше завтра поговоримъ съ тобою,—а теперь не пора ли намъ спатиньки?

Грища стыдливо улыбнулся.

- Спатиньки придуть сами, - сказаль онъ, - а только

какіе спатиньки? Бълые далеко, зеленымъ рано, сърыхъ не хочу, черныхъ ты не пустишь,—какіе же спатиньки! развъ только красные.

День страшный и безпощадный подиялся надъ морознымъ жуткимъ городомъ. Была безоружная толпа, и з вооруженные люди убивали. И ужасъ виталъ надъ столицею.

Пусторослевъ рано вышель изъ дому. Забыль о Григить. Встръчи и заботы захватили его.

И вдругь, въ говоръ толны, мимолетныя слова:

- Много мальчищекъ...

Разомъ веномнилъ. Стало етрашно. Побхалъ домой. Очень торопилъ извозчика. И такъ было страшно, и тоскливо, словно неноправимое совершалось несчастіе.

Дома, — разстроенное Паташино лицо, ея убъгающій взоръ, ненужныя слова:

- --- Ахъ, Андрей Иавловить, на улицахъ-то что дълается.
 - Гриша гдъ?—крикнулъ Нусторослевъ.
 Натаща смутиласъ. Покраснъла. Заплакала.
- Какъ сказали съ вечера шубку спрятать и саножки, все спрятала въ шканъ. Да ужъ какъ онъ ключъ нашелъ, ума не приложу. И такой былъ тихій, и такой тихій. На минутку вышла, вернулась, вътъ Гриши. Одблся, и ужъ какъ пробъжаль? Ума не приложу.

Пусторослевь вышель опять на улицу. Остановился у подъбзда. Куда итти?

Шли вст въ одну сторону. Поситино, словно спасаясь. Молодой человъкъ съ рыжею бородкою, по одеждъ рабочій, въ очкахъ, говорилъ:

— Воть онъ чемъ насъ встретилъ! штыками да пунями.

Въ толиъ дворниковъ и лавочниковъ слишался злой говоръ:

— Студенть. Переодълся.

Какой-то паренекъ въ барашковой шанкъ быстро пробъжаль, крича:

— Товарищи, обходять!

Побъжали.

Показались всадники. Они ъхали медленно. На нерекресткъ собралась толна рабочихъ. Симпиались крики. Полетъла въ солдатъ пустая бутилка. Двое всадниковъ отдълились отъ строя. Нелъно махали щашками. Толпа разбъжалась.

Пусторослевь свернуль въ нереулокъ. Шель кудато. Шель посившно, пробираясь наудачу къ центру города. Не вездъ можно было пройти,—стояли цъпи солдать, не пускали.

Шумъ, толпа, казаци, окрики часовыхъ, — все это скользило мимо сознанія. Пусторослевь забыль, что его ждали, забыль о своемъ дълъ, — только мысль о Гришть повторялась настойчиво и больно.

И вдругь увидъль Гришу. Мальчикь пробъжаль мимо, сгранно-ольдныйна морозь. Крикнуль Пусторослеву:

- Иди, иди за мною.

Черине на блъдномълицъ глаза мгновенною молніемо блеснули передъ усталымь взоромъ Пусторослева. И въто же мгновеніе різкій звукъ рожка пронизаль всъ уличные шумы.

- Гриша, вернись!-крикнуль Пусторослевъ.

Бъжали мимо, кричали. Было видно много искаженвыхъ ужасомъ лицъ. Улица пустъла.

И опять Гриша. Подошель въ Пусторослеву.

— Зачъмъ они бъгутъ? Чего они боятся? — спращиваль онъ, и голосъ его звенълъ и дрожалъ.

Такой бледный, и глаза такъ горять.

Пусторослевь взяль его за плечо, и сказаль:

— Милый, вернемся домой. Здѣсь не надо стоять-Они убивають.

Гриша засмъялся, —совсьмы, какъ тоты, ночной мальчикъ.

Пусторослевь смотръль на Гришу съ недоумъніемь и тоскою. Бълый и сіяющій, какъ тоть, ночной посътитель, мальчикъ говоримь:

— II пусть убьють. Развт ты боишься? Умремь витьсть. Не стоить жить съ этими злыми людьми. Не хочу быть съ ними.

Вдругь гдф-то странно близко послышался тупой гуль и топоть множества коней. Всадники приближались медленно и неуклонно. Лошадиныя въ шънть морды были близки и странно добродушны и покорны, какъ всегда,—а надъ ними колыхались красныя, свиръныя и тупыя лица.

И надъ гудомъ и топотомъ стройнаго воинства пронесся внезапный звонкій крикъ:

- Палачи!

Гриша оттолкнуль руку Пусторослева и, звоико крича, побъжаль навстрфчу всадникамь. Сверкнула бълая, безпощадная улыбка, мелькнула въ воздухъ длинная стальная полоса,—офицеръ ударилъ Гришу.

Надъ дътскимъ трупомъ быстро мчались всадники.

Маленькій изуродованный трупь схоронили. Пусторослевь остался жить,—усталый, безрадостный, втянутый въ суету ежедневной работы для дѣла,—трудъ до подвига, но все еще безъ восторга.

Но длится время, и онъ ждетъ. Паступаютъ великіе дни. Онять придетъ сіяющій рождественскій мальчикъ.

Уже онъ приходить, приходить снова, тихій, вопрошающій, озаренный темною улыбкою,—подходить въ тишинть одинокаго вечера, и заглядываеть въ усталое лицо Пусторослева.

И опять слышить Пусторослевь его тихій и настойчивый шопоть:

— Я хочу. Я пойду съ ними, — и ты пойдешь со мною, въ новый міръ, черезъ эту дверь, темную, но върную.

И знаеть Пусторослевь, что теперь онъ не оставить Гришу одного, —пойдеть съ нимъ, за нимъ. И шепчеть:

— Милый? гдб ты? кто ты?

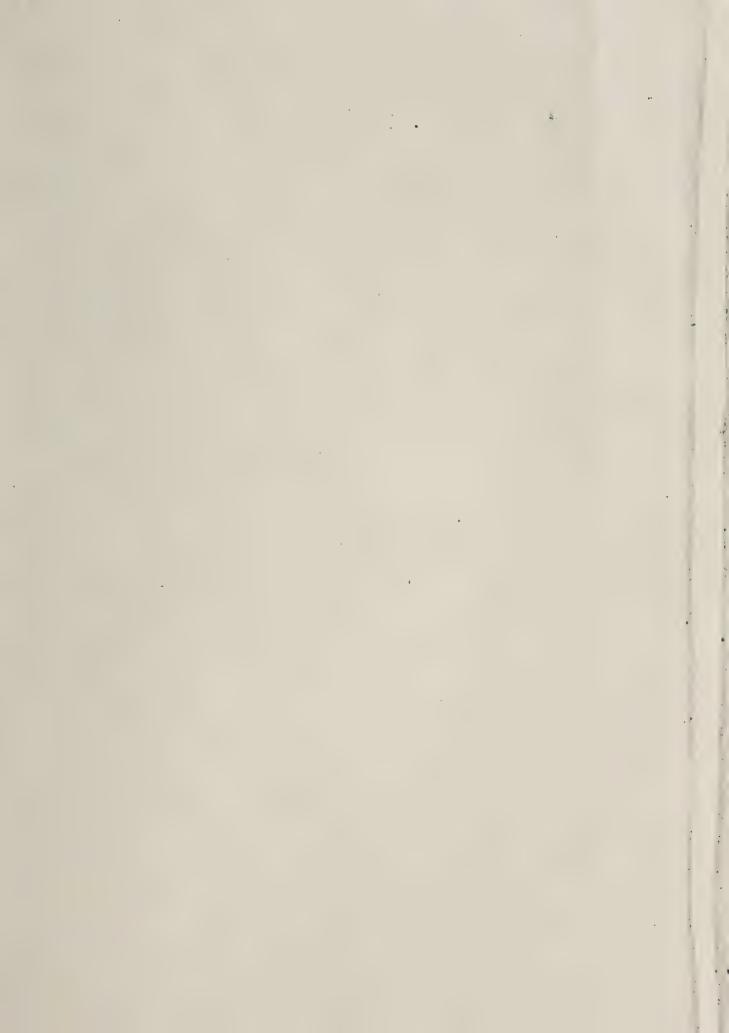
И самшить:

- Приду. Вмъсть пойдемъ.

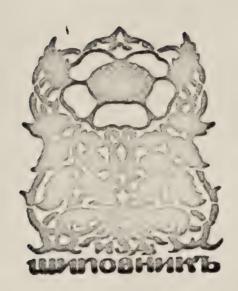
И повторяеть:

- Вивств умремъ.

СОДЕРЖАНІЕ



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CIP, |
|-------------|-------------|-----|-----|-------------|------------|-----|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|------|
| Красота | • | • | • | • | • | | • | | | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | 9 |
| Утышене. | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | 25 |
| Обручъ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 99 |
| Жало смерт | н | • | • | | æ | | • | | ø | • | | | 4 | • | • | • | • | • | ٠ | 107 |
| Въ плъну. | | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | 151 |
| Маленькій ч | ie j | 10 | B'É | K7 | D + | | | • | • | ٠ | • | .• | ٠ | • | • | • | • | • | | 171 |
| Рождествен | cki | itŧ | м | a .J | ь | тил | къ | | | | | | | | | | | | | 199 |



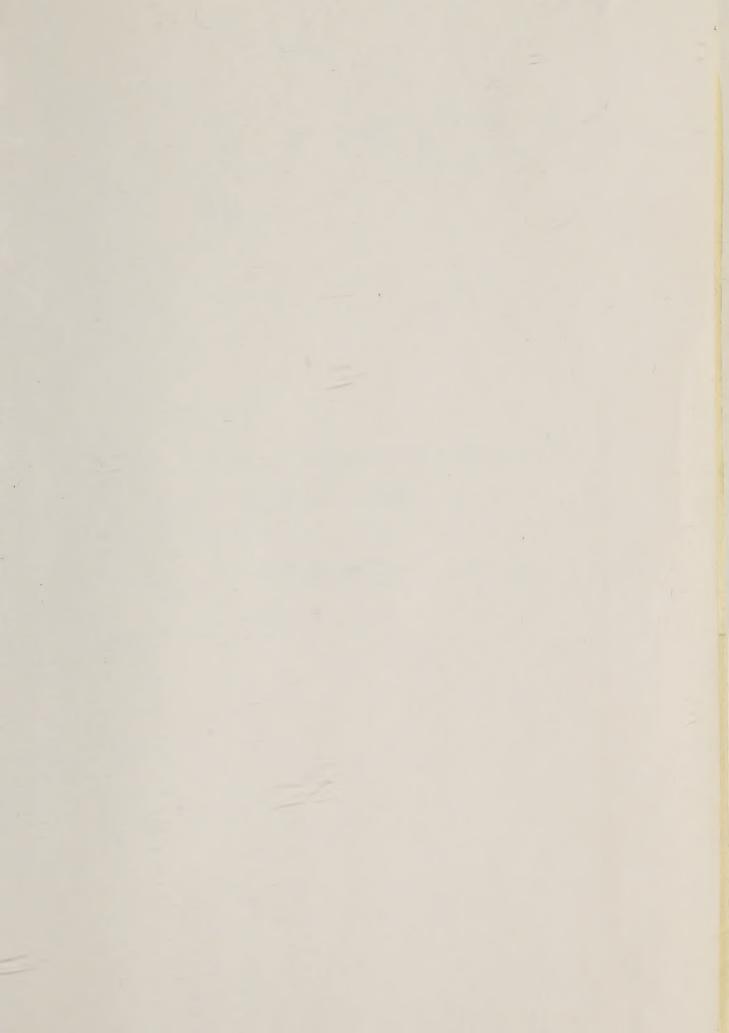
Ц. 1 р. 25 к.

1195 4

72









PG 3470 T4 1909 t.4 Teternikov, Fedor Kuz'mich Sobranie sochinenii

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

